

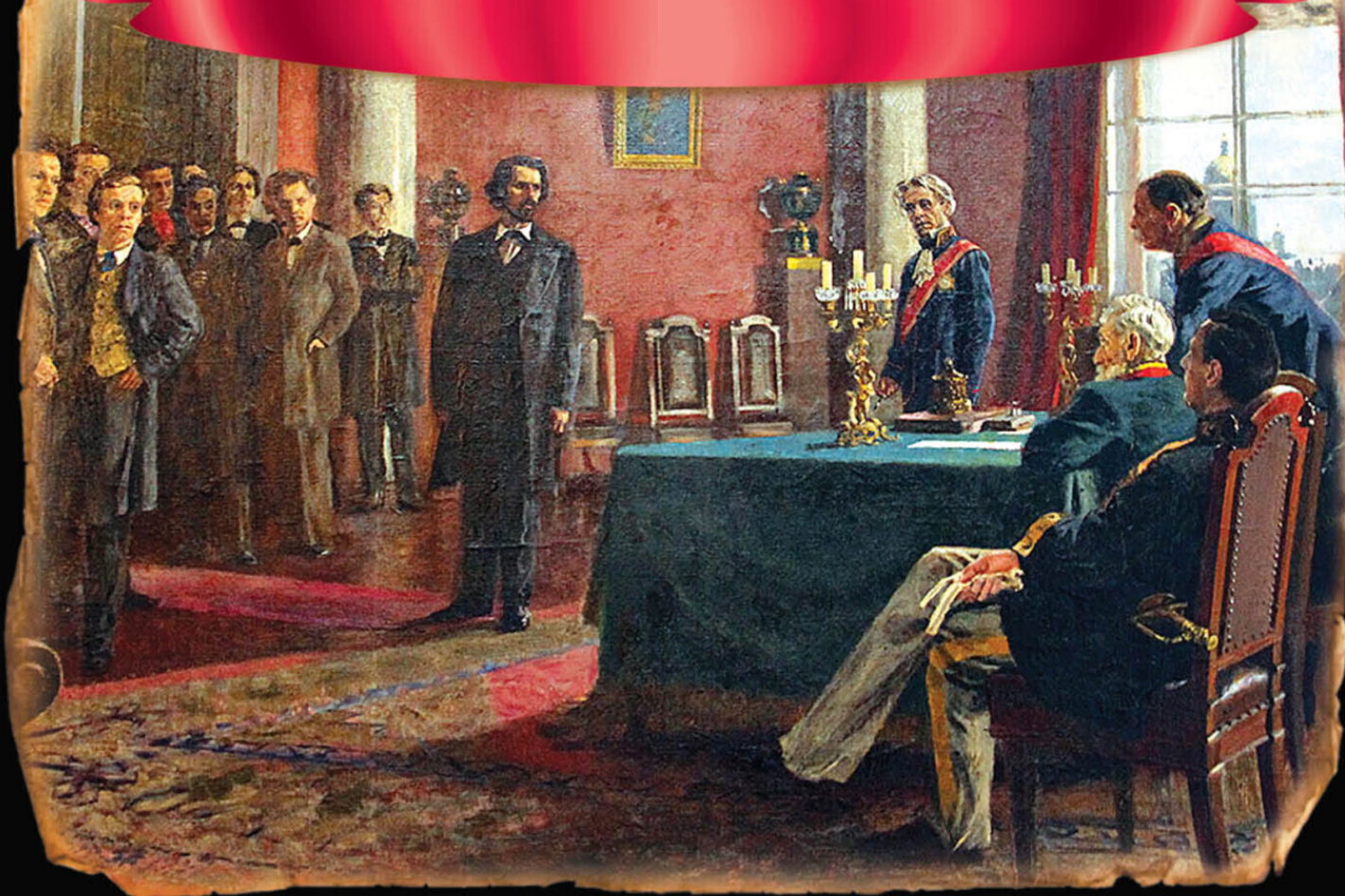


БРЯЧЕСЛАВ
ГАЛИМОВ

"За борьбу
обретешь
ты право свое!"

НЕИЗБЕЖНОЕ

10 ИСТОРИЙ БОРЬБЫ
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В РОССИИ



Русская история

Брячеслав Галимов

**Неизбежное. 10 историй борьбы
за справедливость в России**

«Алисторус»

2023

УДК 63.3(2)
ББК 94(47)

Галимов Б. И.

Неизбежное. 10 историй борьбы за справедливость в России /
Б. И. Галимов — «Алисторус», 2023 — (Русская история)

ISBN 978-5-00222-030-4

Всю вторую половину XIX и начало XX века Россия жила в ожидании неизбежных перемен – переустройства государственной и общественной жизни на справедливых началах. В книге приводятся рассказы из русской истории этого периода. В них предстают такие известные лица как Софья Перовская, Чернышевский, Чехов, Толстой, Маяковский, Мейерхольд, лидер левых эсеров Мария Спиридонова, Ленин и Сталин. Автор приводит уникальные исторические подробности, показывает атмосферу времени, настроения различных кругов русского общества.

УДК 63.3(2)
ББК 94(47)

ISBN 978-5-00222-030-4

© Галимов Б. И., 2023
© Алисторус, 2023

Содержание

Беседы с Чаадаевым в Москве зимой 1835–1836 годов	6
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Брячеслав Галимов
**Неизбежное. 10 историй борьбы
за справедливость в России**



© ООО «Издательство Родина», 2023

Беседы с Чаадаевым в Москве зимой 1835–1836 годов

Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я предпочитаю бичевать её, предпочитаю огорчать её, предпочитаю унижать её, только бы не обманывать.

П. Я. Чаадаев

– Почему я должна сидеть дома, если вы не хотите ехать? Поедьте со мной, если вам не нравится отпускать меня одну, – говорила Екатерина Дмитриевна Панова, красивая привлекательная женщина тридцати лет, своему мужу Василию Максимовичу.

– Помилуй бог! – раздражённо отвечал он. – Разве я гусар какой-нибудь или записной повеса? К чему мне ездить на балы? Что я там не видел – тесноту и духоту, или я хочу оглохнуть от грохота музыки? Зачем мне это? Да и вам не следует ехать: вы замужняя дама, – что вам делать на балах? К тому же, одной вам туда явиться будет неприлично.

– Но другие замужние дамы ездят на балы, это в порядке вещей. Отчего же вы мне это запрещаете? – настаивала Екатерина Дмитриевна.

– Другие – как хотят, а у нас свой обычай, – не соглашался Василий Максимович.



1. Дом Дворянского собрания в Москве.

– О нас и так говорят, что мы некуда не выезжаем; в свете ходят слухи о вашей скупости или бедности. В конце концов, это может повредить вашей репутации в глазах начальства, – привела веский довод Екатерина Дмитриевна.

– Ну, разве повинуюсь установленным правилам, – начал сдаваться Василий Максимович. – Но как быть с приличиями? Что скажут в обществе, когда вы приедете на бал одна, без мужа?

– Со мной едет Кити Левашова. Она тоже будет одна, её Николай Васильевич захворал. Надеюсь, компанию Кити вы не сочтёте для меня неприличной? – с вызовом спросила Екатерина Дмитриевна.

– Она дружна с вами? Я не знал, что у вас близкие отношения, – удивился Василий Максимович. – Что же, если Екатерина Гавриловна едет с вами, я не возражаю... Но я хотел поговорить насчёт вашего имения.

– Здесь не о чем говорить, – отрезала Екатерина Дмитриевна. – После того, как вы разорили своё имение, могу ли я довериться вам? Пока оно записано на меня, я спокойна.

– Но... – хотел возразить Василий Максимович, однако Екатерина Дмитриевна перебила его:

– Оставим эти пустые разговоры. Мне пора собираться.

Василий Максимович проворчал что-то и бросил мимолётный ненавистный взгляд на жену.

* * *

Усевшись в карету, Екатерина Дмитриевна и Екатерина Гавриловна вели вначале дамский разговор.

– Ах, боже мой, Кити, ты очаровательна! – восклицала Екатерина Дмитриевна, разглядывая наряд своей подруги. – Твоё платье «dentelle» изумительно! А цвет каков: это «ivory»?

– Не очень широк кринолин? – спросила Екатерина Гавриловна. – Мне так сильно накрахмалили нижнюю юбку, что она будто оплетена китовым усом.

– Нет, ничуть, но вот рукава, кажется, широковаты, – Екатерина Дмитриевна осторожно дотронулась до них.

– За рукава я спокойна: их кроили по французскому журналу, – сообщила Екатерина Гавриловна. – Сейчас в Париже все носят такие, французы зовут их «les oreilles d'éléphant», «уши слона».

– Если бы я это знала, то велела бы сшить и мои рукава пошире, – огорчилась Екатерина Дмитриевна. – Видишь, как я отстала от моды.

– Что ты, Катенька, – ты прелесть! Какая у тебя мантилья, какие кружева! – утешала её Екатерина Гавриловна. – И тебе очень идёт серый цвет «mélancolique»; по правде говоря, мой «ivory» это уже вчерашний день, но я не смогла переубедить madame Jeannette, мою портниху... А башмачки! Какое чудо! Атласные, с цветочками, – какая красота!

– Твои тоже чудесные! – похвалила Екатерина Дмитриевна. – А чулки? Это из белых кружев? Жаль, что нынче платья так длинны... А что у тебя на руке? – спросила Екатерина Гавриловна. – Какой интересный браслет.

– Парный, «эсклаваж» или «сердечная неволя»; мой муж до сих пор ворчит, что отдал за него столько денег, – пожаловалась Екатерина Дмитриевна.

– Ах, ma chérie, все мужчины таковы! Мой Николай Васильевич тоже не может забыть, сколько стоили эти подвески и ожерелье, – Екатерина Гавриловна поправила свои жемчуга. – Но я не молоденькая девушка, чтобы носить бирюзу или кораллы... Намедни в Петербурге, в Мариинском театре был забавный случай; мне кузина рассказала в письме, – засмеялась она. – Княгиня Юсупова пришла на представление вся в бриллиантах. Надо же было такому случиться, что театр посетила государыня-императрица; и вот, в антракте в ложу княгини, где она сидела со своим мужем графом Сумароковым, входит фрейлина и просит снять бриллианты, потому что императрица в тот день не украсила себя подобными драгоценностями. Княгиня немедленно исполнила эту просьбу, но, поскольку другого украшения у неё не было, супружеская пара вынуждена была покинуть театр.

– Да, представляю: с открытой шеей – и без драгоценностей! Хорош был вид у княгини, – засмеялась и Екатерина Дмитриевна.

– Но почему мы остановились? – Екатерина Гавриловна постучала в переднее окошко кареты: – Тимофей, что там? Почему не едем?

– Обоз из провинции дорогу перегородил, барыня, – отозвался кучер. – Вон сколько подвод, гляньте: и замороженных поросят везут, и гусей, и кур, и крупу, и муку, и масло, – весь жизненный припас.

– Ох уж эти провинциалы! – усмехнулась Екатерина Гавриловна. – Московская жизнь для них дорогая, но надо показать дочерей-невест на балах. Вот и экономят на еде – не хотят покупать московскую, везут свою провизию из имений... Но ничего: «Qui arrive le premier sur le ballon, le voit comme des laquais, des bougies sont allumées» – «Кто приезжает первым на бал, тот видит, как лакеи зажигают свечи». Хорошо, что вышла эта задержка, – по крайней мере, мы можем без спешки поговорить о господине Чаадаеве... Катенька, ты обязана ему помочь!

– Я всем сердцем желаю этого, – сказала Екатерина Дмитриевна.

– Très bien! Отлично!.. Я беспокоюсь за него: с тех пор, как он вернулся из деревни, он мрачен, слишком мрачен, – покачала головой Екатерина Гавриловна. – Я хотела...

– Там я с ним познакомилась, – перебила её Екатерина Дмитриевна. – Алексеевское, имение его тётки княжны Щербатовой, находится в пяти верстах от моего Орево. Мой муж даже деньги занимал у господина Чаадаева и по сию пору не отдал, – так неудобно!

– Да, помню, вы жили с ним по соседству, – кивнула Екатерина Гавриловна. – У него ведь случилась в деревне несчастливая любовь?

– Она могла бы быть счастливой, если бы Дуняша Норова не умерла. Она любила его, но, между нами говоря, разве она способна была понять высокий ум господина Чаадаева? – вздохнула Екатерина Дмитриевна.

– Да, ты рассказывала, – повторила Екатерина Гавриловна. – Ах, Катенька, это самый выдающийся ум в России, – поверь мне, в моём доме побывало немало замечательных людей, но господин Чаадаев превосходит всех! Меня называют «une bonne mère», «доброй мамёнкой» наших людей искусства и науки, но ни о ком из них так не болит моё сердце, как о Петре Яковлевиче. Ты должна возобновить своё знакомство с ним, ты должна стать его близким другом, – кто, как не ты, сможет проникнуться его мыслями, утешить и ободрить этого великого, но одинокого человека?.. У меня есть превосходный план: господин Чаадаев не имеет своего жилища в Москве, – так пусть поселится в моём доме. У меня есть два уютных тёплых флигеля, я с удовольствием предоставлю один из них в полное распоряжение Петра Яковлевича. Мой Николай Васильевич не будет возражать: он давно знаком с господином Чаадаевым, – в войну двенадцатого года они воевали чуть ли не бок о бок. А ты на правах моей подруги сможешь часто приезжать ко мне.

– Ах, Кити, неужели это возможно? – с волнением сказала Екатерина Дмитриевна.

– Не только возможно, но обязательно будет... Однако тебе надо постараться произвести на господина Чаадаева наилучшее впечатление, он должен ощутить в тебе родственную душу, – улыбнулась Екатерина Гавриловна. – Надеюсь, твой муж не поймёт превратно ваши отношения и не станет тебя ревновать?

– Его не заботит ничего, кроме его обычной жизни. Играет в карты, пьёт, кутит; своё имение промотал, – грустно сказала Екатерина Дмитриевна. – Он заурядный человек: ничем не примечателен.

– Мой муж немногим лучше, – призналась Екатерина Гавриловна. – Целыми днями читает газеты и играет сам с собой в шахматы. Глядя на него, мне не верится, что он был когда-то отважным офицером и отличился в двенадцатом году. Сейчас его трудно расшевелить, даже к детям он относится равнодушно: вот и теперь и не знаю, накормят ли их ужином, уложат ли спать вовремя, – вряд ли Николай Васильевич за этим проследит... Ну, так что же с господи-

ном Чаадаевым? – спросила она со вздохом. – Ты возобновишь с ним знакомство? На балу это будет естественно и удобно.

– Я уверена, что мы с ним поймём друг друга, – ещё в деревне я почувствовала, что у нас есть много общего. Знаешь, Кити, у меня такое ощущение, – Екатерина Дмитриевна почему-то понизила голос, – что меня влечёт какая-то высшая сила: может быть, это мой злой рок, но я не могу противиться... Но будет ли господин Чаадаев сегодня на балу? Не напрасны ли наши хлопоты?

– Не волнуйся, *ma chérie*, он не пропустит это событие. У всех великих людей есть свои маленькие слабости; *monsieur* Чаадаев любит блеснуть безукоризненным видом, костюмом по последней моде, изяществом и тонкостью. Пушкин назвал его единственным русским «*dandy*» – единственным настоящим джентльменом и модником в России. Помимо того, господину Чаадаеву доставляет удовольствие отпускать замечания по поводу разных недостатков, присущих свету, – а где ещё уколоть иронией, как не на балу? Я буду крайне удивлена, если мы не увидим Петра Яковлевича в Благородном собрании, но, уверена, что этого не произойдёт, – сказала Екатерина Гавриловна.

* * *

Русские танцевали, как никто в Европе, – это было признано лучшими ценителями танцев. Все танцы, известные в европейском мире, не только быстро воспринимались в России, но получали дальнейшее развитие. В этом сказывалась как особенность русского национального характера, вообще склонного подражать примерам иных народов и совершенствовать скопированные образцы, так и длительному обучению танцам, начавшемуся в России со времен Петра Великого, когда танец стал обязательным предметом с самого младшего возраста во всех учебных заведениях.

Как отмечали знатоки танцевального искусства, такое длительное обучение доводило все движения до механицизма, придавая в нужный момент ловкость, уверенность, привычность и непринужденность в движениях. Это, в свою очередь, делало возможным импровизацию, которая приветствовалась, если не переходила допустимую грань. Помимо прочего, именно бальные танцы привносили в манеры благородного сословия величавость и грацию; потерять такт являлось крайне постыдным делом и даже могло стоить карьеры.

По традиции, заведённой Екатериной Второй, танцы на балах начинались с полонеза. Он был длинен и скучен, поскольку продолжаясь в течение получаса, не допускал никаких отклонений от принятого порядка: его можно было назвать торжественным шествием, во время которого дамы встречали кавалеров и начинали с ними беседу; иностранцы называли этот танец «ходячий разговор». Однако он же позволял показать и рассмотреть бальные наряды и украшения, поскольку все присутствующие должны были принять в нём участие.

За полонезом следовал вальс, несколько раз запрещаемый в России в силу излишней близости в нём дам и кавалеров и каждый раз разрешаемый вновь. В вальсе уже можно было показать необычные приёмы; русский вальс существенно отличался от венского, – только русские исполняли на балах летучие, почти воздушные вальсы.

Однако вершиной бального мастерства была, безусловно, мазурка. Заимствованная из Парижа накануне войны с Наполеоном, мазурка решительно покорила русские сердца; дамы в этом танце скользили по паркету необыкновенно плавно, а кавалеры проявляли всё своё умение и всю свою выдумку, – они делали необычные развороты и поклоны, но, главное, прыжки «антраша», во время которых в воздухе ударяли нога об ногу три раза. Были такие искусные исполнители, которые ударяли нога об ногу четыре раза, а один молодой гусар как-то ударил даже пять раз, чем вызвал бурный восторг публики.

На рождественском балу в московском Благородном собрании все танцы, за исключением полонеза, повторялись по два-три раза ввиду большого количества приглашённых. В залах горели тысячи свечей, что было признаком большого праздника, ибо свечи стоили дорого, и в повседневной жизни комнаты освещались скупое. Все лестницы были устланы дорогими коврами, душистая вода струилась из специально устроенных фонтанов; курильницы распространяли ароматный дым. Бал был очень дорогим удовольствием; бывало, дворяне разорялись, устраивая их: все помнили язвительные стихи Пушкина: «Давал три бала ежегодно и промотался наконец», – но рождественский бал в Благородном собрании оплачивался из казённых средств, так что здесь деньги не считали.

Сразу после полонеза начинался ужин, к нему подавали редкие в России ананасы, экзотические в зимнее время персики, виноград, свежую клубнику, огромных рыб, дорогие вина со всего света и прочее, чем могла порадовать глаза и желудки гурманов высокая гастрономия. На возвышенных площадках по двум сторонам залы у стены стояло множество раскрытых ломберных столов, на которых лежали колоды нераспечатанных карт. Эти столы быстро заполнились охотниками до азартных игр и теми, кто пришёл сюда убить время в ожидании очередного танца.

С началом вальса, места возле ломберных столиков и возле столов с закусками пустели, – впрочем, было несколько человек, которые не танцевали, не играли и не ужинали. Они стояли около колонн, скрестив руки, насмешливо смотрели на танцующих и обменивались короткими репликами. Это были известные в Москве остроумцы, такая же неотъемлемая принадлежность бала, как обжоры, повесы и игроки. К ним прислушивались, их остроты передавались; без них бал не имел бы того, что в Париже называли «*verser les poivrons*», «подсыпать перчику».

* * *

Среди них выделялся один мужчина лет сорока, с большим открытым лбом и ясными серо-голубыми глазами. Его фрачная пара сделала бы честь самому Джорджу Браммелу, законодателю мод; при этом, как предписывает «*london fashion*», галстук был повязан несколько небрежно, будто в спешке, что придавало особый шик всему облику этого господина.

«Чаадаев, Чаадаев», – шептались те, кто проходил мимо, и кланялись ему с какой-то странной поспешностью и даже робостью, будто дети – директору гимназии. К нему подходили засвидетельствовать своё почтение и высокие персоны, которые тоже робели в его присутствии. Чаадаев был со всеми ровен и холодно-ироничен.

– Что, Петр Яковлевич, старых знакомых не узнаете? – спросил его важный чиновник в расшитом золотом мундире.

– Ах, это вы! – ответил Чаадаев. – Действительно не узнал. Да и что это у вас чёрный воротник? Прежде, кажется, был красный?

– Да разве вы не знаете, что я теперь – морской министр?

– Вы? Да я думаю, вы никогда шляпкой не управляли.

– Не черти горшки обжигают...

– Да разве на этом основании, – заключил Чаадаев, и чиновник в золотом мундире исчез. Вскоре к Чаадаеву подошёл какой-то сенатор и стал жаловался на то, что очень занят.

– Чем же? – спросил Чаадаев.

– Помилуйте, одних только записок и дел вот сколько, – сенатор показал аршин от полу.

– Да ведь вы их не читаете.

– Нет, иной раз и очень, да потом все же иногда надобно подать своё мнение.

– Вот в этом я уж никакой надобности не вижу, – заметил Чаадаев.

Его слова тут же разносились по залу; Екатерина Гавриловна и Екатерина Дмитриевна очень смеялись.

– Я пойду к нему, – шепнула Екатерина Дмитриевна подруге. – Я думаю, это не будет бестактностью, всё-таки мы были знакомы.

– Иди, Катенька, с Богом, – Екатерина Гавриловна поцеловала её в лоб.

Отбиваясь от назойливых кавалеров, Екатерина Дмитриевна успела подойти к Чаадаеву до того, как загремела музыка.

– Вот и вальс, – сказала она ему. – Помните, как у Пушкина:

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихор шумный,
Чета мелькает за четой.

– Вы знакомы с Александром Сергеевичем? – спросил Чаадаев, несколько удивлённый её бесцеремонностью.

– Увы, нет, зато с вами мы знакомы, – ответила она. – Мы соседи по имениям в Дмитровском уезде. Вы забыли меня?

– Простите, Екатерина Дмитриевна! – тут же вспомнил её Чаадаев и с неожиданной учтивостью поклонился и поцеловал ей руку. – Недаром говорят, что Москва – большая деревня; в ней опрощаешься и становишься невежливым... Позвольте пригласить вас на тур вальса, если вы ещё не приглашены? Давненько мне не приходилось танцевать с такой очаровательной женщиной.

– Сразу видно, что вы служили в гусарах, – улыбнулась Екатерина Дмитриевна.

– Больше в гвардии, но в гусарах тоже, – улыбнулся он в ответ. – Так как же наш вальс?

– Нет, давайте просто поговорим, – отказалась Екатерина Дмитриевна. – Лучше беседовать с умнейшим человеком России, чем танцевать с ним.

– Это похвала моему уму или намёк на то, что я плохо танцую? – продолжал улыбаться Чаадаев.

– Помилуйте, я не знаю, как вы танцуете, – возразила Екатерина Дмитриевна, – а то, что вы умнейший человек России, известно всем.

– Благодарю вас, но у нас плохо быть умным, в России любят дураков, – в свою очередь возразил он. – Дурак – любимец нашего народа, а к умникам у нас относятся с подозрением. Недавно я наблюдал такую картину: два мужика, наверное, из столяров, несли по улице дверь, тут рядом застряла в снегу повозка важного барина. Они помогли её вытащить; барин дал им полтину на водку, и они никак не могли решить, как им теперь быть – ведь с дверью в трактир не пустят. Мимо шёл ещё один мужик, их знакомый; узнав, в чём затруднение, он сказал: «Да вы дверь сперва отнесите, а потом идите, куда душа пожелает». «Ишь, умный какой! А то мы сами не знаем, – с величайшим неудовольствием отозвались мужики. – Дверь-то нести мимо трактира, так чего зря туда-сюда ходить?».



2. П.Я. Чаадаев. Художник И.Е. Вивьен.

Екатерина Дмитриевна засмеялась:

– Как вы всё подмечаете, месье Чаадаев! Верно сказано Гельвецием: «Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять». Но Декарт уверяет нас, что разум – это зажигательное стекло, которое, воспламеняя, само остается холодным.

– Вы читали Декарта и Гельвеция? – спросил Чаадаев.

– Так же как Дидро, Руссо, Вольтера и немецких философов – Фихте, Шеллинга, кое-что из Канта, – с гордостью ответила она.

– Тогда вы поистине удивительная женщина, – сказал он. – Мало того, что читаете философов, но ещё приезжаете на бал, чтобы вести умные разговоры, а не танцевать.

– Merci за комплимент, если это комплимент, однако хочу вам заметить, что женщины-то как раз читают книги, – возразила Екатерина Дмитриевна. – Больше всего читателей вы найдёте среди женщин, особенно в наш век. Это раньше фигура читающей барышни воспринималась как нечто не вполне обычное, парадоксальное, а ныне существует целое направление женского чтения. Может быть, большинство представительниц моего пола не читают книг по философии, зато с удовольствием читают так называемые «семейные романы», вовсе недурные – Луизы Коттен, мадам Жанлис, Августа Лафонтена и другие. А кто создал успех «Юрию Милославскому» господина Загоскина? Этот роман сделался популярным, как не бывал до сих пор ни один роман в России, и женщины-читательницы внесли едва ли не решающий вклад в такое его признание.

– По этому поводу хорошо написал князь Вяземский: «Женщинам весело находить в романах лица, которых не встречают они в жизни. Охлажденные, напуганные живою природою общества, они ищут убежища в мечтательной Аркадии романов: чем менее герой похож на человека, тем более сочувствуют они ему; одним словом, ищут они в романах не портретов, но идеалов». Что вы на это скажете? – с усмешкой спросил Чаадаев.

– Князь Вяземский в духе непомерной мужской гордыни объясняет любовь женщин к чтению недостатками их натуры, вместо того, чтобы оценить женские достоинства в этом вопросе, – ответила Екатерина Дмитриевна.

– Вы отлично отразили удар, но я найду себе союзника в вашем лагере, – не унимался Чаадаев. – Вот что я слышал от очень умной и наблюдательной дамы: «Женщины молодого поколения читают романы Сю, Дюма в переводах и набираются самых глупых мыслей. Эти дуры не занимаются ни хозяйством, ни детьми, ни работой, а всё читают и выжидают какого-нибудь светского льва. Ведь для разговора в свете нужно знать «Mysteres de Paris» и «Вечного жида». Интересно, что вы возразите на этот раз?

– Я догадываюсь, кто ваш союзник, – прищурилась Екатерина Дмитриевна. – Это, ведь, Александра Россет, по мужу – Смирнова? Я знаю её мужа Николая, у него прекрасное имение на Москве-реке... Это слова Смирновой, я угадала?

– Да, но как вы... – удивился Чаадаев, но Екатерина Дмитриевна перебила его: – Догадаться не сложно: она такой же неисправимый циник, как князь Вяземский, с которым она дружна. «Dis-moi, qui sont tes amis, et je te dirai, qui tu es» – «Скажи мне, кто твой друг...»

Вот что я вам отвечу. В этом пассаже подмечено нечто очень важное: сейчас изменилась сама жизнь женщин нашего круга, и чтение здесь сыграло едва ли не ключевую роль. Чтение романов «из другой жизни» порождает в наших бедных женских умах действительно «самые глупые мысли», – оно разрушает привычные представления о жизненном пути, предназначенном женщине, искушает возможностями перемены участи. Да, мы теперь поджидаем какого-нибудь «льва» вместо того, чтобы смириться с мужем, которого «послал нам Бог» и которого мы в лучшем случае терпим, но не любим. Разве сама ваша знакомая не пример этого? Её муж Николай Михайлович – образец хорошего супруга, но она не любит его и ищет общества блистательных мужчин. Я слышала, у неё бывают Жуковский, Пушкин, Одоевский, – она не пропускает ни одно яркое светило на небосклоне русской словесности. И после этого она же пишет о вреде женского чтения? Вам не кажется это непоследовательным?

– Сдаюсь! – Чаадаев поднял руки вверх. – Бомарше был прав, – его Марселина говорит в «Женитьбе Фигаро»: «Когда личные интересы не вооружают нас, женщин, друг против друга, мы все, как одна, готовы защищать наш бедный, угнетённый пол от гордых, ужасных и вместе с тем недалёких мужчин».

– Бомарше отлично разбирался в женщинах, в отличие от князя Вяземского, – улыbnулась Екатерина Дмитриевна. – Я рада, господин Чаадаев, возобновлению нашего знакомства.

У меня есть ещё много вопросов к вам: о религии, о России, о жизни, нашей и европейской, – et ainsi de suite, и так далее. Мне бы хотелось услышать ваше мнение.

– Боюсь, что вы преувеличиваете мои способности, тем не менее, всегда готов служить вам, – поклонился ей Чаадаев.

– Так я не прощаюсь с вами, – сказала она.

– Как вам будет угодно, сударыня, – ещё раз поклонился он.

– ...Победа, Кити, победа! – радостно и возбуждённо воскликнула Екатерина Дмитриевна, пробравшись к своей подруге. – Я умно поговорила с ним, и он не прочь продолжить знакомство.

– Прекрасно, Катенька! – Екатерина Гавриловна не удержалась и поцеловала её. – Завтра же направлю своего Николая Васильевича с визитом к господину Чаадаеву, а там и до проживания в нашем доме недалеко... Что же, свою задачу мы выполнили, теперь можно потанцевать. Я передам тебе кавалеров на мазурку и котильон? У меня избыток.

* * *

Новая Басманная улица, где теперь жил Чаадаев в доме Екатерины Гавриловны Левашовой, была одним из самых тихих мест Москвы. Когда-то здесь находилась ремесленная слобода, затем проживали иноземные офицеры, командовавшие солдатскими полками.

Юный царь Пётр, возлюбивший прекрасную немку Елену («Алёнку») Фадемрех из находившейся неподалёку Немецкой слободы, часто ездил туда через Новую Басманную, ибо на этой улице он чувствовал себя будто не в Москве, а в любезных ему сердцу Голландии или Германии. К тому же, на иноземных офицеров он надеялся больше, чем на русских, которых подозревал в заговорах и покушениях на его особу. Таким образом, Новая Басманная улица и вслед за ней Немецкая слобода были как бы иноземной крепостью на пути из Москвы в царскую вотчину Преображенское. Там, за рекой Яузой стоял дворец, в котором вырос Пётр, и там же был выстроен страшный Преображенский приказ, в котором царский родственник Фёдор Юрьевич Ромодановский творил расправу над всеми подлинными и мнимыми врагами государя.

Царь Пётр настолько доверял Фёдору Юрьевичу, что пожаловал ему титул «князя-кесаря» и поручал все государственные дела в своё отсутствие; московские жители боялись «князя-кесаря», как самого дьявола, и говорили, что Ромодановский «видом, как монстр; нравом злой тиран; превеликой нежелатель добра никому; пьян по все дни; но его величеству верный такой, что никто другой». Вместе с царем Пётром он люто пытал арестантов в застенках Преображенского приказа, отчего по Москве пошла молва: «Которого дня великий государь и Ромодановский крови изопьют, того дня они веселы, а которого дня они крови не изопьют, и того дня им и хлеба не естся». Говорилось это, конечно, на ухо и только своим, ибо самым лёгким наказанием за подобные слова было вырезание языка по горло, битье кнутом до костей и вечная ссылка в Сибирь.

Много народа было наказано в Преображенском приказе после того, как царь завёл новую пассиву в Немецкой слободе – Анну Монс. В Москве её считали высокомерной, злой и весьма охочей до всяческих земных благ, которые она и её многочисленные родственники, пользуясь слабостью к ней Петра, получали в избытке. Царь щедро одаривал «милую Анхен» подарками: начал со своего миниатюрного портрета, украшенного алмазами, и двухэтажного дома в Немецкой слободе, построенного на казённые деньги, а закончил вотчиной с 295 крестьянскими дворами в Дудинской волости Козельского уезда и ежегодным пансионом в 708 рублей, – в то время как русские министры, главы Приказов, получали по 200 рублей в год. При этом царя бесили даже малейшие намёки на злоупотребления «Монсихи», как называли её

в народе, – подобное злословие тоже приравнивалось к государственному преступлению со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями.

Некоторое удовлетворение пострадавшие за «Монсиху» смогли получить лишь через тринадцать лет, когда выяснялось, что она отнюдь не любила Петра и не была ему верна. В реке Неве утонул саксонский посланник Кенигсек; в его вещах нашли любовные письма от Анны и её медальон. Эти письма относились к периоду пятилетней давности, когда Пётр на полгода уезжал в Великое Посольство в Европу. Один иностранный представитель при русском дворе написал после этого об Анне Монс: «Она, хотя и оказывала Петру свою благосклонность, не проявляла нежности к этому государю. Более того, есть тайные сведения, что она питала к нему отвращение, которое не в силах была скрыть. Государь несколько раз это замечал и поэтому её оставил, хотя и с очень большим сожалением. Но его любовница, вследствие особенностей своего характера, казалось, очень легко утешилась».

Вскоре Анна вышла замуж за прусского посланника Георга-Иоанна фон Кейзерлинга, но через несколько месяцев он внезапно скончался. Тогда она нашла нового возлюбленного – пленного шведского капитана Карла-Иоганна фон Миллера, которого одаривала ценными подарками до тех пор, пока не скончалась от скоротечной чахотки.

Резкий поворот Петра в сторону Запада кое-кто из историков объяснял именно влиянием Анны Монс, «иноземки, дочери виноторговца, из любви к которой Пётр особенно усердно поворачивал старую Русь лицом к Западу и поворачивал так круто, что Россия доселе остаётся немножко кривошейкою». Пушкин писал по этому же поводу: «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, – при стуке топора и при громе пушек. Но Россия явилась перед изумлённой Европой не как равная среди равных, но окровавленная, с искажённым от ужаса лицом».

* * *

Во времена Петра и после него Новая Басманная улица превратилась в избранный район Москвы, где поселилась как старая, но европеизированная русская знать – Куракины, Голицыны, Головины, – так и «птенцы гнезда Петрова», вроде Демидовых. Положение изменилось лишь после пожара 1812 года, когда на месте сгоревших дворянских усадеб стали строить свои дома разбогатевшие купеческие семьи Алексеевых, Прове и Мальцевых. К моменту восшествия на престол государя Николая Павловича эта старая московская улица была отчасти застроена дворянскими домами, отчасти купеческими, отчасти – доходными, с квартирами под сдачу внаём.

Такая пестрота не мешала Новой Басманной по-прежнему считаться «избранной улицей»: одним из следствий этого было освещение её уличными фонарями.

Чаадаева забавляла эта черта «избранности», ибо фонари были всего лишь её внешним признаком, не принося почти никакой практической пользы. В народе их называли «конопляники», так как в них горело конопляное масло; сила света каждого фонаря была не больше 1–2 свечей, да и зажигали их только зимой, – но всё же за год на все московские «конопляники», по сведениям Управы, уходило 11 тысяч пудов масла и 20 пудов фитиля. В числе прочих причин подобного непомерного расхода было воровство конопляного масла фонарщиками, которые тайком сливали его, чтобы добавлять в кашу. Тогда чья-то умная голова придумала заменить конопляное масло хлебным спиртом, – надо ли говорить, что расход стал ещё больше! В итоге, в хлебный спирт начали добавлять нефть, дабы отпугнуть фонарщиков резким запахом.

...Вглядываясь из окна в темноту зимнего вечера, Чаадаев решительно ничего не мог рассмотреть, кроме тусклого света фонарей, и вспоминал стихи Пушкина:

Когда Потёмкину в потёмках
Я на Пречистенке найду,

То пусть с Булгариным в потомках
Меня поставят наряду.

Нужно было знать презрение Пушкина к Булгарину, перебежчику, служившему в 1812 году Наполеону, потом жандармскому осведомителю, издателю официозной «Северной пчелы», где он воспевал правительственную идею «православия, самодержавия, народности» и ругал русскую интеллигенцию за отсутствие патриотизма, – чтобы понять, насколько мерзко было для Пушкина встать наряду с Булгариным «в потомках», а стало быть, всю остроту этих строк.

Сам Булгарин объяснял неприязнь к себе Пушкина и многих других писателей завистью к своему успеху у читающей публики. «Им завидно, когда меня не без оснований называют Вальтером Скоттом русской литературы, – говорил Булгарин, – когда мои книги расходятся тиражами по десять тысяч, а их – едва по две».

Пушкин написал эпиграмму и на эти слова Булгарина:

Все говорят: он Вальтер Скотт,
Но я, поэт, не лицемерю:
Согласен я, он просто скот,
Но что он Вальтер Скотт – не верю.

Вдобавок ко всему Булгарин хвалился высочайшим одобрением своей деятельности: тремя бриллиантовыми перстнями, полученными от государя Николая Павловича, и именным рескриптом, в котором говорилось, что его величеству «весьма приятны труды и усердие ваше к пользе общей», и что его величество, «будучи уверен в преданности вашей к его особе, всегда расположен оказывать вам милостивое свое покровительство».

Чаадаев мрачно усмехнулся: на что уж царь Александр был далёк от образа идеального правителя, но Николай... Но не будем об этом, – позже, позже..

Он снова выглянул в окно – ничего не разобрать. Пора бы ей уже приехать, она живет неподалёку, – подумал он и нахмурился от этой мысли. Когда и почему эта женщина стала небезразлична ему? Вот он с нетерпением ждёт её прихода, а ведь ещё недавно ему казалось, что женщины больше не играют никакой роли в его жизни.

Он уселся в своё любимое кресло перед большой изразцовой печью, посмотрел на стол, на котором давеча лежали её перчатки. Тонкий запах духов от них по-прежнему ощущался в комнате; интересно, где она покупает такие духи? Какой необыкновенный волнующий запах...

* * *

В дверь постучали.

– Барин, к вам госпожа Панова, – раздался голос слуги Елисея.

– Проси, – поспешно отозвался Чаадаев, встал с кресла и поправил свой домашний, но сшитый по последней моде сюртук.

– Петр Яковлевич, к вам можно? – через минуту спросила Екатерина Дмитриевна.

– Oui, connectez-vous, – ответил он и прибавил по-русски: – Милости прошу.

Она вошла, на ней было широкое кремовое платье с кружевными воротником и рукавами; он отметил, что оно пошито с большим вкусом и очень её подходит.

– Какой мороз! – улыбаясь, сказала Екатерина Дмитриевна. – Щиплет за нос и щёки и пробирает даже сквозь шубу.

– Не прикажете ли горячего чая? – предложил он. – У меня есть настоящий китайский.

– Нет, благодарю, я пила дома, – отказалась она. – Если позволите, я сяду поближе к печке.

– Сделайте одолжение, – он придвинул ей своё кресло и, дождавшись, когда она сядет, присёл возле неё на стул.

– Вот я и приехала, – весело доложила она, грея руки около печи. – В прошлый раз вы обещали рассказать мне о своей жизни, – я вся во внимании. Мы можем говорить хоть целую ночь: я сказала дома, что останусь ночевать у Кити. Мой муж дорожит этим знакомством и не стал возражать.

– Как вы с ним живёте? – вдруг спросил Чаадаев. – Вы счастливы?

– Какие странные вопросы! Чисто по-гусарски, – несколько принуждённо засмеялась она. – Положительно, в вас осталось что-то от гусара.

– Вы хотели сказать, – какие дерзкие вопросы, – поправил он её. – Вы правы, я нарушил законы этикета, но у меня такое чувство, будто я давно вас знаю и имею право так спрашивать на правах друга.

– А мы с вами друзья? – она быстро взглянула на него и отвела глаза.

– Ещё раз простите мою бестактность, но я отвечу вопросом на вопрос: а сами вы как думаете? – ответил он, стараясь поймать её взгляд.

– У меня тоже такое чувство, будто я знаю вас давно, – ответила она и вновь рассмеялась, на этот раз от души: – Однако какую глупость мы говорим: мы ведь действительно давно знакомы, ещё по деревне!

– И опять вы правы, – улыбнулся он. – Вы называете меня умным человеком, а я не способен понять женщину.

– Не будем торопиться, – сказала она уже серьёзно. – Я сама приехала к вам, я готова провести у вас целую ночь: вы представляете, как это могли бы истолковать в свете?.. Что касается моего мужа, я вам отвечу откровенно. Счастлива ли я с ним? Нет. Если бы я была с ним счастлива, меня не было бы здесь: женщина отдается любимому человеку вся без остатка, – если она любит, ей нечего дать другому мужчине и она ничего не хочет от него.

– Ещё раз убеждаюсь, что вы напрасно хвалите мой ум; вы умнее меня, Екатерина Дмитриевна, – он взял её руку и поцеловал.

– Итак, вы сказали в прошлый раз, что надо знать вашу жизнь, чтобы понять ваши идеи, – отведя руку, сказала она. – Перед вами внимательный слушатель, – прошу вас, начинайте.

– Последний вопрос: почему вы решили слушать меня ночью? Я не боюсь сплетен, мне нет дела до условностей, но вы – другое дело. Я не прощу себе, если вы будете скомпрометированы.

– Почему именно ночью? – переспросила она. – Ночь – лучшее время для мечтаний и бесед, ничто не отвлекает вас; я, знаете ли, вообще ночное существо. Что касается компроматации, у Кити мне нечего бояться: в её доме заведён такой порядок, что никто посторонний не узнает о наших ночных разговорах.

– Я знал, что в России была Екатерина Великая, теперь я знаю ещё двух великих Екатериин, – с усмешкой заметил Чаадаев.

– Трудно понять, когда вы говорите комплименты, а когда – издеваетесь, – сказала Екатерина Дмитриевна.



3. Усадьба Е.Г. Левашовой на Новой Басманной улице, где в 1833–1856 годах жил П. Я. Чаадаев.

– Поверьте, я глубоко уважаю Екатерину Гавриловну и вас, – возразил он. – Это всё проклятая привычка к острословию – она часто служит мне дурную службу. *Celui qui aime l'esprit, il ne connait pas la mesure*, – или, как гласит наша русская пословица, «ради красного словца не пожалеет родного отца». Извините меня, ради бога.

– Я вас уже извинила... Ну же, где ваш рассказ? – спросила Екатерина Дмитриевна с ободряющей улыбкой.

* * *

– Извольте... – поклонился Чаадаев. – Для начала скажу немного о своём детстве. Я вырос круглым сиротой, мои родители умерли, когда я был ещё в неразумном возрасте. Меня с братом взяла к себе наша тётка княжна Анна Михайловна Щербатова, – вам не приходилось с ней встречаться в свете?

– Нет, только в Алексеевском, когда вы жили там, – ответила Екатерина Дмитриевна.

– Сразу видно, что вы редко выезжаете из дома: несмотря на возраст, моя тётушка не перестает любить танцы и часто бывает на балах. Другая её известная всей Москве слабость – чрезвычайная смешливость. *Ma tante Anna* начинает хохотать до упаду от самых безобидных вещей: однажды её чуть не уморил до смерти лакей, который с третьего раза не мог выговорить польскую фамилию одной из наших дам «Бжентештыкевич-Пржездзецкая».

Впрочем, Анна Михайловна – милейшая женщина, исполненная благости и самоотвержения. Узнав, что наша мать умерла вслед за отцом, и мы с братом Михаилом, совсем маленькие, остались без надзора в нижегородском имении, она бросилась к нам из Москвы ранней весной, по бездорожью, и вывезла нас к себе, – позже она любила рассказывать, как едва не утонула, переправляясь в половодье через Волгу. Всю свою нерастрченную любовь *tante Anna* отдала мне и брату, мы были и есть счастье всей её жизни. Я запомнил из детства такой случай: находясь в церкви, мы услышала крик прибежавшего слуги: «У нас несчастье!» Оказалось, что в нашем доме случился пожар. «Какое же может быть несчастье? – спокойно сказала тетушка Анна. – Какое же может быть несчастье, когда дети оба со мной и здоровы».

Мы выросли в её доме на Арбате, в приходе Николая Явленного...

– Отчего же вы сейчас не живёте у неё? – перебила Екатерина Дмитриевна.

– Тётушка до сих пор видит во мне ребёнка; её заботы трогательны, но скоро начинают надоедать. Она непременно должна быть рядом, ей постоянно нужно видеть меня и знать всё, что со мной происходит. То же относится к брату; вот что она написала нам, – он взял со стола письмо и прочитал: – «В вас нахожу не племянников, но любезных сыновей; будьте уверены, что я вас люблю паче всего; нет для меня ничего любезнее вас, и тогда только себя счастливо нахожу, когда могу делить время с вами». Увы, любовь тоже бывает докучной, – можете считать меня неблагодарным, но я предпочитаю навещать тётушку Анну, чем жить с ней под одной крышей, – сказал Чаадаев.

Екатерина Дмитриевна кивнула в знак того, что понимает его.

– Нашим опекуном был дядя Дмитрий Михайлович, брат тётушки Анны, – продолжал Чаадаев. – Он сохранил наше состояние, насчитывающее две тысячи семьсот восемнадцать душ и почти миллион рублей ассигнациями.

– Я не представляла, что вы так богаты, – удивилась Екатерина Дмитриевна.

– Был когда-то: гвардейская и гусарская молодость, а после жизнь за границей съели почти всё моё богатство, остались лишь жалкие крохи, – усмехнулся Чаадаев. – Но я продолжу с вашего позволения... Тётушка нас баловала и попустительствовала нам решительно во всём: из-за неё я рос своевольным ребёнком. Дядюшка не препятствовал этому: он сам был донельзя своенравен, самолюбив и чрезвычайно капризен; прибавьте особое барское великолепие, которое встречается только в России, а также большой ум, – и вы поймёте, что я многое заимствовал от него.

Не надо забывать, что он принадлежал к тем людям екатерининской эпохи, для которых идеи французского Просвещения были жизненной энергией, основой и смыслом существования. Сама матушка-императрица до известных событий во Франции, когда чернь устала площади гильотинами и с них посыпались просвещённые дворянские головы, была расположена к своим друзьям-просветителям. Дидро жил при её дворе в Петербурге; по совету Дидро она пригласила к себе Фальконе, создавшего «Медного всадника». С Вольтером, Даламбером, Гриммом она переписывалась в перерывах между своими альковными забавами, присоединением новых земель и умирением крестьянских бунтов; внимательно читала Ивана-Якова Руссо, не допуская его, однако, до русской публики.

Сына Павла ей не дала воспитать в просвещенческом духе императрица Елизавета Петровна, взявшая на себя заботу об этом нашем взбалмошном императоре, но зато Екатерина воспитала своих внуков Александра и Константина, как она того хотела. В то время мы присоединили Крым и мечтали уже об освобождении Константинополя; по замыслу Екатерины, Александр должен был воссоздать великую империю своего тёзки Александра Македонского, а Константин, подобно Константину Великому, воцариться в Константинополе.

Но, конечно, им надлежало быть просвещёнными монархами, философами на троне, а для этого следовало соответственно воспитать их, – откуда же, как не от просветителей, можно было заимствовать правильную программу воспитания? Екатерина собственноручно написала её, не забыв ни умственные, ни физические упражнения, но главным образом уделив внимание развитию благородных чувств. Именно в благородстве чувств в сочетании с естественными порывами Дидро, Вольтер, Руссо и иже с ними видели залог воспитания высокой личности; всё что мешало осуществлению этой задачи надо было решительно отбросить, невзирая на укоренившиеся предрассудки. Самым большим предрассудком, самым большим злом в деле воспитания была порка... Вас порол в детстве, Екатерина Дмитриевна? – спросил Чаадаев.

– Меня? – удивилась она этому вопросу. – Нет. Меня оставляли без сладкого или заставляли сидеть одну в комнате.

– Вот видите! – сказал Чаадаев. – Мы с вами оба принадлежим к «непоротому поколению», а ведь мало кто из наших предков может похвастаться тем же. Во времена наших отцов детей порол нещадно, в хижинах и дворцах, – и никому не приходило в голову, что это плохо.

Напротив, общепринятое мнение гласило, что от порки дети делаются умнее и лучше, что розга и ремень изгоняют из них всё плохое. Екатерина в числе первых стала утверждать обратное; не довольствуясь словами, она категорически запретила пороть своих внуков, – наказания для них не должны были унижать человеческое достоинство, не должны были оскорблять и озлоблять детей. «Насилие по отношению к ребёнку не может быть оправдано никогда и ничем», – повторяла она слова просветителей, а заодно вспоминала рассказ Руссо о том, как порка в детском возрасте вызвала у него сладострастные чувства, сродни тем, которые описал маркиз де Сад, – только наслаждение происходило не от причинения, а от получения наказания. В екатерининский век наслаждения всякого рода были широко известны в обществе, поэтому ей не надо было пояснять, о чём идёт речь, – таким образом, вред порки был очевиден.

Подражая императрице и проникнувшись просвещенческими идеями, все образованные люди перестали пороть детей; порка ушла даже из учебных заведений, где она была введена указом Петра Великого в обязательном порядке по средам и субботам, вне зависимости от вины, «чтоб учение крепче было». Правда, указы Екатерины не касались низших сословий: мужиков продолжали бить кнутом, рвать им ноздри и выжигать клеймо на лбу. Полусумасшедший Павел тем полюбился народу, что запретил рвать ноздри, а кнут заменил плетью; народ горько жалел о его смерти, хотя послабление, надо заметить, не столь большое.

Знаете, мне кажется, что в нашем народе есть что-то нездоровое, того же рода, что сладострастие от получения наказания, описанное Руссо, – сказал Чаадаев, скрестив руки на груди. – Некий молодой писатель из литовцев, – не помню его фамилию, заканчивается как-то на «ский», – уверяет, что можно испытать наслаждение, когда кнут ложится на вашу обнажённую спину, рвёт кожу и брызгает кровью. Мне думается, что этот писатель точно уловил одну из глубинных сущностей русского народа, который любит мучения и наслаждается ими.

Но не будем забегать вперёд... Да, мы принадлежим к «непоротому поколению», отсюда – не только из-за этого, но в том числе, – благородство душ, «высокие порывы», как написал Пушкин...

– О, я помню это стихотворение! Александр Сергеевич вам его посвятил! – воскликнула Екатерина Дмитриевна.

– Я горжусь этим, – кивнул Чаадаев, – но мы снова забегаем вперёд: о Пушкине, о нашей молодости, о нашем служении России мы ещё поговорим...

Всего одно непоротое поколение, а сколько славных деяний, сколько великих свершений, – одна выигранная война с Наполеоном чего стоит! – сколько высоких помыслов! Сейчас всё не так, – вздохнул он. – Подлость и низость видим мы повсюду, а детей снова бьют и считают это полезным. Недавно я имел разговор с молодой дамой: она жаловалась мне на своего сына, – мальчик, де, умный, но шаловливый, приходится его часто пороть, чтобы привести к порядку. «Что же вы надеетесь из него вырастить?» – спросил я. «Порядочного, хорошего человека», – ответила она. «Если вы достигнете этой цели, вы будете первая, кому это удалось с помощью розги», – сказал я. Она удивилась и не поверила, а я понял, что выпал из времени.

***.

– Но я говорил о своём дядюшке, – продолжал Чаадаев. – Его целью было дать нам обширные и глубокие знания, в чём он весьма преуспел. От своего отца, моего деда, – президента Камер-коллегии, тайного советника, сенатора, историка, экономиста, философа, моралиста, естествоиспытателя, энциклопедиста и вольнодумца, – дядюшка получил в наследство огромную библиотеку в пятнадцать тысяч книг. Они стали моими первыми учителями, а дядюшка дополнял моё образование своими беседами, удивительно чёткими и стройными по существу и форме.

Вскоре он нанял нам с братом для занятий немца Иоганна Буле, выпускника Гёттингенского университета и ординарного профессора Московского университета. Буле читал в уни-

верситете лекции по истории философии, естественному праву, философским системам Канта, Фихте и Шеллинга, логике и опытной психологии, по истории и теории изящных искусств, греческой и римской литературе. Занятия с ним были духовным пиром, вроде пира Платона. Благодаря этому учёному немцу, философия перестала казаться нам скучной наукой, она стала для нас праздником ума и орудием постижения мира. Остаётся добавить, что Буле был неплохим репетитором в языках: он хорошо знал греческий, латинский, еврейский и владел всеми новоевропейскими языками. Надо ли удивляться, что мы без труда выдержали вступительные экзамены, и уже в четырнадцать лет я стал студентом Московского университета, моей alma mater, вскормившей меня духовной пищей.

Моими однокурсниками были Александр Грибоедов, Николай Тургенев, Василий Перовский, но ближе всех я сошёлся с Иваном Якушкиным, кузеном нашей милой хозяйки Екатерины Гавриловны. Мы были с ним друзьями в университете, вместе воевали с Наполеоном, вместе состояли в тайных обществах, которые были разгромлены нашим нынешним императором и о которых теперь запрещено вспоминать. Кто бы мог подумать, что Иван меня предаст, а сам будет гнить на каторге! – вздохнул Чаадаев. – Но здесь я опять опережаю своё повествование, – не будем спешить, вернёмся назад...

Помимо учёбы, второй моей страстью был высший свет – всё что с ним связано. Наверное, это можно назвать тщеславием, но я поставил себе целью лучше всех одеваться, танцевать, полностью освоить принятую манеру поведения. Мне это удалось – скоро меня стали называть самым блестящим из всех молодых людей московского большого света... Жаль, что вы не захотели потанцевать со мной на балу в Благородном собрании, – право же, я не ударил бы лицом в грязь и не посрамил бы моё поколение в глазах молодёжи! – гордо произнёс он.

Екатерина Дмитриевна улыбнулась:

– Надеюсь, мы с вами ещё потанцуем.

– Будем надеяться, – сказал Чаадаев. – ...Студенческие годы промчались быстро; мне предлагали остаться в университете, прочили в будущем профессорскую должность. В другое время, возможно, я остался бы, но в воздухе уже ощущалось приближение военной грозы, и вместе с братом я поступил на службу в лейб-гвардии Семёновский полк. Там раньше служил наш дядя, – он сделал нам протекцию и нас взяли подпрапорщиками.

Военная подготовка полка была слабой: мы больше готовились к парадам, чем к войне, – сказал он с горечью и досадой. – Батальонные и полковые учения проводились исключительно с расчётом на парады: по приказу государя Александра Павловича батальонные учения следовало проводить один раз в семь дней, полковые – один раз в пятнадцать дней, делая упор «на твёрдость шага и красоту передвижения шеренги». Полк в любой момент должен был выступить по тревоге... как вы думаете, для чего? Для войны? Отражения угрозы неприятельского вторжения? Вот и нет: для того, чтобы по прибытии высоких иностранных гостей блеснуть в парадном строю.

Лишь после позора Аустерлица стали проводиться регулярные учения по стрельбе и действиям полка в атаке и обороне, – да и то они отменялись всякий раз, когда нужно было подготовиться к очередному параду. Последнее я видел своими глазами: в начале двенадцатого года перемен было мало...

Однако война двенадцатого года – это отдельная тема, а мне всё кажется, что вы устали, – Чаадаев взглянул на Екатерину Дмитриевну.

– Да нет же, – с досадой ответила она. – Откуда у вас такое неверие в интерес к себе? С одной стороны, вы гордитесь собой, с другой – постоянно принижаете себя.

– Возноситься к высочайшим вершинам и падать в глубокую пропасть, – не таково ли предназначение человека на земле? Помните, как у Державина:

Я телом в прахе истлеваю,

Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я бог!

Вот вам истинные гордость и принижение, – куда мне до них! Но, знаете ли, Екатерина Дмитриевна, это вы на меня так влияете: обычно я не склонен заниматься самоуничижением, и хотел бы я посмотреть на человека, который попытался бы принизить меня! Но вы... вы другое дело, – он вновь взял её руку, – с вами я чувствую себя уверенным и нерешительным одновременно.

– Но рассказывайте же дальше, – она опять отняла руку. – Я была ребёнком, когда случилась эта война, но помню, как шли полки по дорогам, как везли раненых на подводах; помню опрокинутые лица моих родных при известии об оставлении Москвы.

– Да, война двенадцатого года произвела неизгладимое впечатление на наше общество, – сказал Чаадаев. – Отзвуки этой военной грозы до сих пор слышны и ещё долго будут слышаться. Я хотел бы остановиться здесь на трёх вопросах: почему произошла война двенадцатого года, как она проходила и что показала нам. Если вы не возражаете, я буду придерживаться этого плана моей... чуть было не сказал – лекции, – засмеялся он. – Мои друзья всегда говорили, что во мне сидит несостоявшийся профессор, – наверное, они правы.

* * *

Итак, почему произошла война? – сказал он. – От нежелания иметь дело с Наполеоном. После окончания нашей неудачной кампании против него в Европе, он в Тильзите и ещё более в Эрфурте предлагал Александру Павловичу хорошие условия мира. Речь шла о том, чтобы Франция и Россия создали великий евро-азиатский союз от Атлантического до Тихого океана. Франция получила бы больше выгоды в Европе, а Россия – в Азии; нет сомнений, что они стали бы мощнейшими державами на свете. Мы, однако, предпочли держаться Англии, которая никогда не была нам по-настоящему дружественна и заботилась исключительно о своих интересах.

Нельзя скидывать со счетов неприязнь государя Александра Павловича к Наполеону как представителю «révolution française», бросившую дерзкий вызов монархическим порядкам в Европе и до смерти перепугавшую ещё бабушку Александра – императрицу Екатерину. Её сын Павел сумел в конце своего недолгого правления преодолеть предубеждение против Наполеона и вошёл в союз с ним. Возможно, – во всяком случае, в Петербурге ходили упорные слухи об этом, – Павел поплатился жизнью именно за такой поворот в политике.

Взойдя на престол, Александр немедленно порвал отношения с Наполеоном, снова прикнул к Англии, и мы опять стали воевать против французов. Потерпев поражение под Аустерлицом, мы продолжали пятиться к нашим границам, пока в Тильзите не заключили мир с Наполеоном. Офицеры, бывшие там, рассказывали, что французский император был очарован нашим государем; помимо политического расчёта, личная дружеская симпатия влекла Наполеона к нему. В Эрфурте он не шутя предлагал Александру Павловичу разделить власть над всем континентом, а в знак упрочнения союза просил себе в жены великую княжну Екатерину Павловну, сестру Александра.

Да, государь Александр Павлович умел произвести хорошее впечатление, но горе тому, кто поддавался его обаянию! Кто-то из шведских министров, кажется, Лагербельке, сказал, что Александр был «тонок, как кончик булавки, остёр, как бритва, и фальшив, как пена морская».

Екатерина Дмитриевна улыбнулась:

– Я слышала это изречение.

– Очень верное наблюдение, – кивнул Чаадаев. – Государь Александр Павлович был чрезвычайно изворотлив и фальшив до мозга костей, но когда надо, мог полностью расположить к

себе нужного ему человека. В этом он был весь в бабушку, которая владела подобным искусством в совершенстве. Приехав в Россию из своего маленького немецкого княжества, Екатерина поставила себе целью стать настоящей русской императрицей и добилась этого. Она полностью постигла мастерство лицемерия и притворства; всю жизнь она играла роль, которую сама себе придумала и которая представляла её в самом лучшем свете; редко кто видел настоящую Екатерину. Она отличалась в этом от императрицы Елизаветы, которая была настоящей русской барыней, избалованной, взбалмошной, вспыльчивой, но отходчивой и по натуре добродушной и весёлой. Елизавета не играла никаких ролей, она была такая, какая есть: сегодня могла отхлестать по щекам какого-нибудь генерала, а завтра приласкать его и осыпать милостями.



4. Александр I. Художник С.С. Щукин.

Екатерина лукавила всю жизнь: не забывайте, что она была узурпатором на троне, занявшим его после свержения и убийства своего мужа, законного императора. Мало того, она отняла власть у своего сына Павла, ведь именно он должен был стать нашим царём, войдя в

надлежащий возраст, а Екатерина оставалась всего лишь регентшей до его совершеннолетия. Однако он проходил в несовершеннолетних до самой кончины Екатерины: ему было и тридцать, и тридцать пять, и сорок лет, а он всё считался недорослем. Каково ему было жить так, да ещё видеть, как родная мать, убив его отца, заводит одного любовника за другим и одаривает их богатствами!

Век Екатерины – один из самых мерзких периодов в истории нашего несчастного Отечества. Вседозволенность для небольшого круга лиц и вопиющее бесправие для всех остальных, процветание воровства и взяточничества, величайший разврат и прожигание жизни этими избранными, а с другой стороны, жестокий гнёт и тяжёлая нужда народа, – как верно отразил это Александр Радищев в своей книге, и как ужасно он поплатился за свою откровенность! Что делать – он не первый и не последний, кто наказан в России за слово правды, – Чаадаев нахмурился и замолчал, Екатерина Дмитриевна не осмелилась прервать его мысли.

* * *

– По мне, – продолжал он через минуту, – полубезумный Павел лучше «просвещённой» Екатерины – по крайней мере, он были искренен. Когда матушка-императрица, дабы подольститься к русскому обществу, присоединяла новые земли к Российской империи, один Павел выступил против этого.

Мы любим присоединять земли и расширять своё и без того непомерно расширившееся государство – как ликовала вся Россия, когда Екатерина присоединила Крым; за одно это ей готовы были простить все её прегрешения. Но что нам дало присоединение новых земель? Разве мы стали жить лучше, разве у нас установились более человеческие порядки, разве прекратилось беззаконие? Нет, всё сделалось только хуже, – а бедных украинцев матушка-императрица вовсе обратила в крепостное рабство: они стали последними в Европе, на кого было наброшено ярмо крепостничества, в то время как остальные европейские народы давно избавились от него.

– Как вы накинулись на императрицу Екатерину! – заметила Екатерина Дмитриевна. – А ведь недавно хвалили её за правильное воспитание внуков, того же Александра.

– Нет, я хвалил её за привнесение правильных методов в воспитание, а это не одно и то же, – возразил Чаадаев. – Как может дать благие плоды воспитание, пропитанное ложью и фальшью? Для ребёнка важнейшее значение имеет личный пример: если воспитатель учит одному, а ведёт себя по-другому, ребёнок сразу распознает лицемерие и учиться лицемерить сам. Так, ростки правильного воспитания, которые должны были дать хорошие всходы, были затоптаны в грязь из-за лжи, в которой Александр пребывал с самого детства. Вот почему он был «фальшив, как пена морская»; не будем забывать, к тому же, что власть развращает людей, – особенно власть беспредельная и бесконтрольная.

Наполеон вскоре увидел двуличие Александра, но более всего его поразила неразумность нашего государя, – ведь Наполеон предлагал нам выгодный союз, но Александр продолжал его нарушать и тайком поддерживал Англию. Напоминая, уговоры, серьёзные предупреждения, наконец, – ничто не помогало, и тогда Наполеон решил двинуть на нас войска. Хотел ли он завоевать Россию? Смешной вопрос, – Наполеон не был безумцем, он всегда ставил перед собой реальные цели. Теперь его целью было заставить Александра подписать новый, более крепкий договор, чтобы исключить российскую помощь Англии и одолеть, в конце концов, эту своенравную эгоистичную страну.

А что мы защищали в этой войне? Свою землю? Наполеон не покушался на неё: как только Александр подписал бы новый мирный договор, французские войска немедленно покинули бы Россию. Свою свободу? Мы её не имели, французские порядки были лучше наших, – впрочем, Наполеон не собирался что-либо менять у нас: он даже не подписал указ об отмене

крепостного права на занятых им территориях, хотя это привлекло бы на его сторону тысячи русских мужиков, и весьма вероятно вызвало бы гражданскую войну.

Так что же мы защищали? Ответ может быть только один: нежелание нашего императора заключить союз с Наполеоном, а если смотреть шире – наше подбострастное заискивание перед Англией, которой наши помещики продавали хлеб, а взамен получали английские товары для комфортной жизни. Об этих истинных причинах войны с Наполеоном сейчас не принято говорить: государь Николай Павлович ныне насаждает у нас «le patriotisme pour des laquais», лакейский патриотизм, который оправдывает все деяния власти и тем укрепляет её. Но надолго ли? Может ли быть крепок колосс на глиняных ногах?..

Войну двенадцатого года, по велению Николая Павловича, называют «Отечественной», но что получило от неё наше Отечество? Положение России ухудшилось, жизнь народа стала ещё более тяжёлой, – прямым следствием этой войны было создание тайных антиправительственных обществ и безумная попытка горстки офицеров в один час переменить всю политическую и хозяйственную систему страны. Я сам состоял в этих обществах и позже скажу о них, пока же отмечу, что если кто и выиграл от разгрома Наполеона, так это Англия.

Хотим мы этого или нет, но должны признать, что мы сражались, в сущности, за её интересы, а не за Россию.

* * *

Чаадаев перевёл дух:

– Видите, как мы разобрались с причинами и следствиями войны? Но вы обязаны спросить меня: «Зачем вы тогда дрались? Почему вы добровольно шли на войну и не жалели в ней своих жизней?»

– Да, спрошу, – сказала Екатерина Дмитриевна.

– Я вам отвечу: романтизм. Мы все были во власти его идей. Россия была для нас в полном смысле романтическим понятием: мы искали какую-то особую её сущность, мы видели проявление каких-то высших особенных сил в её истории, мы романтизировали самую русскую жизнь, не желая замечать её безобразий. Ну и конечно, нас жгло оскорблённое национальное чувство: как посмели французы вторгнуться в наши пределы? Разве Россия – не великая держава, разве не держала она в страхе всю Европу совсем недавно?

О, эти великодержавные настроения, – сколько бед они принесли нам и ещё принесут в будущем! Казалось бы, так просто понять, что величия нет и не может быть там, где есть несправедливость, угнетение и произвол, но как мало людей понимают это.

– Я согласна с вами! – воскликнула Екатерина Дмитриевна. – Поверьте, я понимаю вас и сочувствую вашим мыслям.

– Я снова благодарю вас, – поклонился Чаадаев. – На сегодня мне осталось рассказать вам о своём участии в войне; волею судьбы я был почти во всех знаменитых битвах. Наш Семёновский полк вместе с другими гвардейскими полками выступил из Петербурга в марте двенадцатого года, за три месяца до вторжения Наполеона, – это доказывает, что оно не было неожиданным для нас.

Примечательно, что в то время, когда Александр Павлович стягивал войска к границе, Наполеон всё ещё не терял надежды договориться с ним, однако наш государь будто специально подталкивал его к войне. Кому-то было очень нужно, чтобы Россия и Франция начали эту войну, – многие поговаривали всё о той же «коварной руке Англии», в доказательство они приводили свидетельства вопиющей бестолковщины в нашей армии и общей неподготовленности России к войне. Мы будто собирались воевать с каким-то заурядным генералом, а не с великим Наполеоном, покорившим всю Европу. Военная реформа, проводившаяся у нас, шла

кое-как и далеко не была закончена, численность наших войск значительно уступала французской.

Нечего говорить о порядках в армии французов и в нашей. Начну с того, что во французской армии солдат не били – каждому, кто поднял руку на солдата, грозил расстрел, – а у нас их избивали нещадно: зуботычины и оплеухи вообще не считались за грех, – бывало, что солдатам за незначительные проступки выбивали зубы и портили барабанные перепонки. Но это было мелочью по сравнению с поркой шпицрутенами и шомполами, когда провинившегося прогоняли сквозь строй и давали по тысяче ударов. После такого наказания кожа на спине висела лохмотьями, – недели две-три и более несчастный должен был отлёживаться в лазарете, а те, кто были слабее, умирали.

Во французской армии каждый рядовой мог со временем стать офицером, генералом и даже маршалом; существовала особая система продвижения отличившихся по службе: офицер не мог получить следующее звание, не подготовив определённое количество солдат на замещение командных должностей. Известное высказывание Наполеона о том, что в его армии каждый солдат носит в ранце маршальский жезл, было не лишено оснований. У нас же выслужиться из солдат в офицеры было почти невозможно – это были такие редкие случаи, что о них знала вся армия, причём, такой офицер всё равно оставался белой вороной, ему постоянно указывали на его место.

Наполеон часто твердил, что он лишь «первый солдат Франции», и это были не пустые слова: находясь в походах всегда среди своего войска, объезжая его ряды под огнём и лично направляя в атаку, он доказал это делом. Нашим солдатам не приходило в голову считать императора Александра за своего: пропасть, которая отделяла их от царя, была огромна и непреодолима. У нас была армия господ и рабов; у французов – армия свободных людей.

Мы уступали французам и в качестве военного обучения: во французской армии оно было построено с расчетом на войну, у них обучение было осмысленное и требовало от солдат разумной инициативы в бою. У нас инициатива считалась преступлением: правило Суворова, чтобы каждый солдат знал свой маневр, осталось на бумаге. Неукоснительное, механическое исполнение приказа, полный отказ от самостоятельности, категорический приказ «не рассуждать!» – вот наша основа солдатского обучения. Муштра и шагистика были всего важнее для нас: мы готовили солдат для парада, а не для войны, – я уже говорил об этом... Наконец, у нас бессовестно разворовывали средства, отпущенные на вооружение и содержание армии, но попробовал бы кто-нибудь решиться на эдакое у французов при Наполеоне!

* * *

– Можно ли было воевать в таких условиях, тем более, самим стремиться к войне? – спросил Чаадаев. – Тем не менее, наши войска изготавились к ней, бросая вызов Наполеону. Все гвардейские полки уже в апреле стояли на границе в составе Первой или Западной армии, которой командовал Михаил Богданович Барклай-де-Толли, великий стратег и полководец, так и не получивший должного признания у потомков. Гвардейские полки он держал в качестве резерва, мы входили в Пятый корпус его армии и с началом военных действий не участвовали в сражениях до самого Бородин.

Там мы впервые понюхали пороха – мы защищали артиллерийские позиции на правом фланге наших войск. Французы обстреливали нас из пушек; они предоставили дело артиллерии, прежде чем пустить на нас пехоту и конницу. Тот, кто хоть раз побывал под ядрами и картечью, знает, каково выдержать такое: не хочу рисовать вам ужасные картины войны, но вы только представьте, как тяжелые чугунные ядра бьют в мягкие человеческие тела, дробя и калеча их, отрывая конечности и головы; как осколки выпущенных из пушек гранат рвут и

режут человеческую плоть на части; как картечь осыпает смертельным градом неподвижные шеренги и выкашивает в них мёртвые пустоты.

– Да, это ужасно, – сказала Екатерина Дмитриевна с невольным содроганием. – Не знаю, как вы выдержали такое, это что-то апокалипсическое.

– Мы простояли под огнём больше четырнадцати часов, в моей роте было убито около сорока человек, не считая раненых и покалеченных, но мы не отошли. К вечеру французы двинули, всё-таки, против нас пехоту, но мы не подпустили её ближе ружейного выстрела, – с гордостью сказал Чаадаев. – Я считаю заслуженными награды, которые мы получили за Бородино: нам с братом Михаилом дали звание прапорщиков, двадцать шесть офицеров нашего полка были награждены орденами.

На Бородинском поле все наши войска показали чудеса мужества, и мы с братом даже поспорили, отчего это? Понятно, что офицеры должны были сражаться героически – по велению долга, из дворянской чести, желания славы, во имя получения наград и чинов, из романтического чувства привязанности к Родине, о котором я уже упоминал, и которое было очень сильным у нас. Но солдаты? Какой смысл был умирать им? Родина была злой мачехой для них, служба – невыносимым бременем; награды ничего не меняли в их беспросветном существовании.

Брат Михаил утверждал, что именно поэтому солдаты так легко шли на смерть – она была для них избавлением. Он вспоминал, как древние греки говорили о спартанцах: они потому являются такими храбрыми и стойкими воинами, что смерть в бою для них лучше той жизни, которую они ведут. А русский человек вообще мало ценит свою жизнь, ибо она у нас ненадёжна, как нигде, и намного тяжелее, чем у прочих народов; русский человек привык к ударам судьбы, он фаталист по натуре и смерть не вызывает у него такого ужаса, как у изнеженных жителей Европы, убеждал меня Михаил.

Соглашаясь с ним во многом, я ссылаясь, опять-таки, на иррациональную любовь к Родине, которую впитывают люди с молоком матери. Эта любовь не поддаётся разумному объяснению, она существует вопреки жизненным обстоятельствам, но, как мы знаем, подобные чувства – самые сильные. Как бы ни был плох предмет нашей любви, но пока мы любим, мы не замечаем его недостатков.

Если исходить из здравого смысла, солдаты должны были разбежаться при первых же признаках опасности: кто мог бы остановить тысячи людей, спасающих свои жизни? Точно так же русский народ обязан был встретить Наполеона как освободителя и умолять его принять власть над ним, но и этого не произошло: за исключением нескольких случаев, народ восстал против французов и бился с ними. Во имя чего? Разумных причин здесь нет; единственное, что может объяснить это парадоксальное явление – иррациональная любовь к Родине, или иначе – голос «земли и крови». Люди с умом и воображением создают целые теории на этот счёт, народ же любит Родину, не мудрствуя, и считает естественным отдать жизнь за неё... Чем и пользуется те, кто им управляет, заметил мне брат Михаил, и я должен был согласиться с ним...

Настанет ли когда-нибудь время, когда иррациональная, бессмысленная любовь к нашему Отечеству уступит место осмысленной и здоровой любви? Настанет ли время, когда мы будем не только любить Россию, но и гордиться ею? Вот тот вопрос, который и тогда волновал нас, и на который до сих пор я не нахожу ответа, – задумчиво проговорил Чаадаев.

* * *

– Бедная моя собеседница, я вас совсем замучил, – сказал он, взглянув на Екатерину Дмитриевну. – Не пора ли нам заканчивать на сегодня?

– А как же окончание войны? Мне помнится, что после Бородина были ещё какие-то события, – улыбнулась она. – Расскажите до конца, нельзя же останавливать историю на полпути.

– Вы негибаемая женщина... Что же, осталось рассказать не так много... Бородинская битва была самой страшной и самой славной в этой войне, но по приказу Кутузова наутро мы покинули Бородинское поле и отступили к Москве. Вступив в Москву через Дорогомиловскую заставу, мы вышли через Владимирскую. Население, почти все пьяное, бежало за нами, упрекая, что мы покидаем древнюю столицу без боя: московский градоначальник граф Ростопчин до последнего часа уверял народ, что Москва не будет отдана неприятелю, поэтому наше отступление произвело столь тяжкое впечатление. Многие присоединились к нашим колоннам, чтобы уйти до вступления французов.

Мог ли я себе представить ещё год назад, в пору беспечной студенческой жизни, что моя Москва перейдёт Наполеону, что французы будут хозяйничать в доме моей тётушки и в университете, где я учился, и в Благородном собрании, где я завоёвывал московский свет?.. Не могу высказать, как тяжело было мне покидать Москву, и то же чувствовали все наши офицеры.

Эти чувства усилились при виде московского пожара; но если Наполеон надеялся взятием Москвы подавить нашу волю к сопротивлению, он глубоко ошибся. Напротив, теперь и речи не могло быть о замирении с ним – многие офицеры заявили, что если будет заключен мир, то они перейдут на службу к испанцам, воюющим против французов у себя в стране.

Напомню вам, что к этому времени в Испании уже пятый год шла партизанская война против французов, – она сочеталась с борьбой за преобразование общества. Испанцы добились принятия первой в их истории Конституции, которая существенно ограничила власть короля и упразднила многие пережитки прошлого. А что дала наша партизанская война? – спросил Чаадаев с горькой усмешкой. – После изгнания Наполеона победившая власть забыла о прежних обещаниях; Александр Павлович отказался от реформ, начатых им в начале правления. Право, не знаю, что лучше: победа или поражение в войне, если иметь в виду улучшение государственных порядков.

Но народ сражался с французами самоотверженно: тысячи поселян, укрываясь в лесах и превратив серп и косу в оружие, без искусства, одним мужеством отражали французов. Благодаря действиям партизан, французы в Москве оказались отрезанными от снабжения и вскоре начали испытывать настоящий голод. Зимовать здесь стало невозможно, и Наполеон покинул Москву. Последняя его попытка сохранить плоды своих побед была предпринята в Малоярославце, – там Наполеон пытался прорваться в богатые запасами южные губернии, где можно было переждать зиму. Мы ему этого не позволили: наши войска дрались отчаянно, и Наполеон не прошёл. Наш Семёновский полк прибыл на поле сражения в три часа дня; под прикрытием наших батарей мы заняли позиции на задней линии. Сражение продолжалось до ночи; с наступлением темноты Наполеон отступил, и французская армия ушла по Старой Смоленской дороге.



5. Битва русской и французской армий за Малоярославец 24 октября 1812 года. Гравюра Жана-Батиста Мартине.

Об ужасах этого отступления многое известно, так что не буду повторяться; скажу только, что никогда за всю войну я не видел столько трупов. Поля были совершенно усеяны мёртвыми телами; не преувеличивая, можно сказать, что их приходилось по двадцати на каждую квадратную сажень. На дороге тоже лежали оледеневшие трупы, проезжающие сани и коляски с глухим стуком ударялись о них. Все местечки, деревни, трактиры были опустошены и переполнены больными и умирающими. Не лучшим было положение пленных: многих из них за недостатком квартир держали на открытых дворах, где они умирали сотнями. Мы не могли снабдить их хлебом и тёплой одеждой, так как сами были лишены всего этого: наши тылы не поспевали за нами.

Отмечу, что наши солдаты удивительно сердечно относились к пленным в их несчастном положении, – они делили с ними свою скудную порцию. Во время похода солдаты часто выходили из строя для того, чтобы поделиться последним сухарем с каким-нибудь несчастным французом, замерзавшим у дороги на снегу.

* * *

От армии Наполеона ничего не осталось, сам он уехал во Францию, чтобы набрать новую. В приказе Кутузова по нашей армии говорилось: «Храбрые и победоносные войска! Наконец вы – на границах империи. Каждый из вас есть спаситель Отечества! Не было еще примера столь блистательных побед».

Впрочем, как мы узнали, Кутузов не советовал государю продолжать войну против Наполеона. Кто мог выиграть от этой войны – всё та же Англия, но не Россия. Нам выгоднее было заключить мир с Наполеоном, изгнав французов из нашей страны. Нет сомнений, что Наполеон, и без того хотевший этого мира, заключил бы его на более выгодных для нас условиях, и

союз России и Франции стал бы залогом процветания обеих держав. Об этом как раз и говорил Кутузов; скажу и о нём пару слов.

Как ни странно, победитель Наполеона был одним из самых известных франкофилов при петербургском дворе: Франция, французская культура, французский мир были Меккой и Мединой для Кутузова. Своими манерами, обращением, изящным остроумием и безупречным французским языком он походил на истинного парижанина: матушка-императрица Екатерина ценила эти качества в нём и приглашала его запросто бывать у неё. В Кутузове вообще будто жили два человека: первый – ловкий царедворец, умевший подольститься к сильным мира сего и угодить их желаниям, сластолюбец и распутник, весьма охочий до женских прелестей, до конца жизни предавшийся сладострастию: уже будучи в преклонных летах, фельдмаршалом и главнокомандующим нашей армией, он возил с собой молодую наложницу-молдаванку, которую вывез из Бухареста, и, бывало, сутками не выходил с ней из спальни.

Но в нём жил и второй человек: философ-стоик, видевший жизнь с высоты горней мудрости, понимавший людей и их стремления. В этом ему не было равных, и тот же Наполеон недаром называл Кутузова «хитрой северной лисицей». Помимо прочего, Кутузов хорошо знал Россию, русского человека и русского солдата, – как Наполеон был своим для французских солдат, так Кутузов – для русских. Сам его вид в солдатской бескозырке и походном сюртуке вызывал доверие; солдаты любили своего старого командующего и верили ему безгранично.

Несколько таинственный ореол придавала Кутузову история двух его ранений: при взятии Крыма и при штурме Очакова. Оба раза пули прошли насквозь через голову, от левого виска к правому глазу, по одному и тому же пути, но Кутузов не только выжил, но эти раны не оставили ни малейших последствий для его здоровья. Вопреки расхожему мнению, он отлично видел обоими глазами, а повязку носил, чтобы не пугать дам своим шрамом. Солдаты шептались, что сам Господь сохранил Кутузова для спасения России; офицеры считали так же, но вместо «Господь» говорили «Провидение».

Однако государь Александр Павлович с трудом терпел Кутузова: может быть, из-за того, что его ценил император Павел – Кутузов был в числе его приближенных и даже присутствовал на последнем ужине, после которого Павла убили при молчаливом одобрении Александра, – а может быть, из-за нежелания Кутузова примкнуть к проанглийской партии в Петербурге.

Отстранив Кутузова от командования армией после поражения под Аустерлицем, Александр Павлович с большой неохотой вернул его: вначале воевать с турками в Румынии, а потом – с французами в России. Однако прислушиваться к его советам не желал: в результате от победы над Наполеоном усилилась Англия, сделавшаяся первой державой мира и создавшая свою огромную империю; получили определённые выгоды Австрия и Пруссия, а Россия... Россия полила своей кровью поля Европы, помогая своим ненадёжным союзникам.

Кутузов до этого не дожил – он умер в Силезии, в самом начале нашего европейского похода. Мне передавали, что чиновник по особым поручениям Крупенников, бывший при Кутузове до последнего часа, слышал, как государь Александр Павлович пришёл проститься со своим бывлым недругом. «Прости меня, Михаил Илларионович!» – сказал Александр. «Я прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит», – отвечал Кутузов.

* * *

Не стану рассказывать о наших битвах в Европе, хотя многие из них были не менее жаркими, чем в России: в августе тринадцатого года при Кульме наш полк потерял до девятисот человек убитыми, более половины своего состава, – в том числе был убит наш полковник. Когда мы увидели, что французы одолевают нас, мы пошли в штыковую атаку и тем немало способствовали окончательной победе наших и союзных войск. За эту битву я получил орден святой Анны, а от пруссаков – Кульмский крест. Хотите, я покажу их вам? – спросил Чаадаев.

– Очень хочу, – сказала Екатерина Дмитриевна.

Он встал, подошёл к бюро и вынул из ящика ордена:

– Вот они, пожалуйста. Я не стал бы хвалиться, но мне обидно слышать, как ныне некоторые ретивые патриоты называют меня чуть ли не врагом России. Большинство из них никогда не нюхало пороху; единственная опасность, которой они себя подвергают, это сорвать голос в словесных баталиях или заработать геморрой от длительного сидения при написании патриотических памфлетов. А я – боевой офицер, прошедший всю войну с Наполеоном; два года я был в действующей армии и сражался за Россию.

– Не нужно обращать на них внимание, они просто глупые и непорядочные люди, – Екатерина Дмитриевна передала ему ордена и чуть пожала его руку.

– Я не обращал бы, но они являются выразителями определённых настроений в нашем обществе, – возразил Чаадаев, убирая ордена обратно. – Мы в который раз наступаем на одни и те же грабли; снова власть для сокрытия своей мерзости использует патриотизм, снова она творит свои подлые дела за ширмой любви к Родине.

– Но вам не в чем себя упрекнуть – вы и теперь сражаетесь за Россию; вы остаётесь в строю, – сказала Екатерина Дмитриевна с мягкой улыбкой.

– Благодарю вас, я так редко слышу тёплые слова... Но мне хочется завершить наш сегодняшний разговор на более весёлой ноте. В заключение я расскажу вам, как служил в гусарах, – Чаадаев лукаво взглянул на неё.

Екатерина Дмитриевна засмеялась:

– Это тем интереснее, что мало соответствует вашему характеру! Я вся во внимании.

– Напрасно вы так думаете, – не согласился Чаадаев. – Возможно, гусарство есть главная черта моего характера; кто знает, какие черти водятся в глубоком омуте нашей души... Я перешёл в гусарский полк за несколько месяцев до окончания войны. Было уже ясно, что мы побеждаем, и мне вдруг захотелось под занавес чего-то яркого и необычного, выходящего за рамки военных будней. Не скрою, большую роль в этом моём превращении сыграл Денис Давыдов. Если бы Творцу надо было создать лекало для отливки настоящего гусара, то для образца следовало взять Давыдова. По своим внешним и внутренним качествам он был истинным гусаром. В самом деле, гусар должен быть небольшого роста, ибо этот род войск подразумевает ловкость, подвижность, умение пролезть там, где не пролезет никто. Давыдов был именно такого роста, при этом имел огромные усы, которые заливчатски подкручивал при каждом удобном случае. Он был великолепным наездником, отлично владел саблей и пистолетом, в рукопашной схватке мог справиться с двумя, а то и с тремя противниками.

Гусар должен быть смелым до безумия, он не должен бояться никого и ничего; Давыдов бравировал своей смелостью, – не только в бою, но и в жизни. В молодости он написал басню «Голова и ноги», в которой высмеивал Александра Павловича. В ней были такие строки:

Коль ты имеешь право управлять,
То мы имеем право спотыкаться,
И можем иногда, споткнувшись, – как же быть, —
Твое величество об камень расшибить.

Гусар должен быть задирой и забиякой; Давыдов бессчётное число раз дрался на дуэлях, часто по пустяшному поводу. Гусар обязан быть пьяницей, картёжником и дамским угодником; Давыдов на спор выпивал дюжину бутылок шампанского, проигрывал и выигрывал в карты целые состояния, легко относясь как к выигрышу, так и проигрышу. За дамами он волочился постоянно, заводил по три романа одновременно и не успокоился, даже женившись.

Мы познакомились с ним на бивуаке где-то в Пруссии, всю ночь пили, он читал мне свои стихи. Утром он предложил мне перейти в его Ахтырский полк; я согласился и таким

образом стал гусаром. Правда, наша дружба продлилась недолго: я был слишком рассудочен для Давыдова, он не любил мои рассуждения о России. Но я успел дойти с его полком до Парижа и отличился в традиционных гусарских доблестях.

Весна четырнадцатого года навсегда запомнилась мне: вначале парижане приняли нас настороженно, но потом наша щедрость, удаль и широта покорили их. Французские дамы были от нас без ума, простите меня за нескромность, – да что светские дамы, гусары нашего покая завоевали сердца целого женского монастыря! Мы стояли возле обители капуцинок, и они, презрев обет, данный Богу, оказывали нам самое нежное внимание. Между тем, наши мундиры за время боевых действий изрядно обносились, и тогда монахини отдали нам всё сукно, которое имелось у них для пошива ряс, на пошив наших новых мундиров. На параде мы выглядели блестяще и произвели впечатление на государя Александра Павловича. После этого он своим указом повелел Ахтырскому полку на вечные времена носить коричневые мундиры, а традиционным тостом ахтырских гусар стало: «За французских женщин, которые пошили нам мундиры из своих ряс!».

– Вот вы какой, – Екатерина Дмитриевна пристально посмотрела на Чаадаева и покраснела. – Сколько открытий принесла эта ночь.

– Жаль, что она закончилась. Но вы приедете ко мне ещё? – он не сводил с неё взгляда.

– Непременно, – ответила она, с неохотой поднимаясь с кресла. – Но сейчас разрешите мне уйти. Уже рассвело, мне пора домой.

Чаадаев встал и проводил её до двери:

– Когда же я снова вас увижу?

– Я приеду, как только смогу, – сказала она.

* * *

Прошло несколько дней, когда Чаадаев получил известие, что Екатерина Дмитриевна навестит его сегодня вечером.

Она вошла к нему сияющая, радостная. Он приложился к её руке, с волнением вдыхая аромат знакомых духов.

– Как вы веселы нынче, – сказал он. – Как приятно видеть женщину, светящуюся молодостью и красотой! Если бы Пушкин увидел вас сейчас, он бы непременно сочинил стихотворение, которое вошло бы в золотой фонд нашей поэзии. Жаль, что я не поэт.

– Вы расскажете мне о Пушкине? – спросила она, расправляя своё широкое платье и усаживаясь на кресло. – Я едва знакома с ним, а вот Кити его хорошо знает, я завидую ей.

– Расскажу, – ответил он, присев, как и в прошлый раз, на стул возле неё. – Его обстоятельства нынче не хороши; эта нелепая женитьба будто свершилась по воле злой судьбы. Но я знавал Пушкина в лучшие времена и могу рассказать о нём много приятного... Но сперва позвольте вспомнить то время, о котором мы сегодня будем говорить: я думаю, вы не разочаруетесь, тогда было много примечательного.

– А чая вы мне не предложите? – улыбаясь, сказала Екатерина Дмитриевна. – Вы хвалились, что у вас есть настоящий китайский.

– Ах, простите! – он вскочил со стула и виновато поклонился ей. – Умственные упражнения способствуют мудрости, но не учтивости: я совсем онемел за своими философическими занятиями... Я сам заварю чай, у меня наготове всё необходимое. За ночь я выпиваю по несколько чашек; не звать же всякий раз Елисея, чтобы он мне подал чай... А может быть, вы хотите кофе? Я его не пью, я становлюсь от него раздражённым и нервным, но для вас велю подать.

– Нет, лучше чай, – только, пожалуйста, не сладкий и не крепкий, – попросила Екатерина Дмитриевна. – Женщиной быть нелегко: приходится думать, что ешь и пьёшь – как это отразится на цвете лица и фигуре.

– «О, Аллах, спасибо, что не создал меня женщиной!» – так магометане начинают свои молитвы, – улыбнулся Чаадаев. – Но вряд ли вы станете спорить, что принадлежность к женскому полу имеет несомненные преимущества: ни один мужчина, будь он фараон или император, не удостоивался такого поклонения и обожествления, какое получает прекрасная, неотразимая, восхитительная женщина. Немногие помнят имена великих фараонов Египта, открытые нам Шампольоном, но имя Клеопатры знают все; не потому что она была царицей, но оттого что она была обворожительной женщиной. Её бы помнили за это, не будь она даже правительницей Египта...

Вот ваш чай, – осторожно, он горячий, не обожгитесь! А я, с вашего позволения, начну свой рассказ, – он сел и призадумался на минуту. – Наверное, мне вначале следует сказать о своей размолвке с Денисом Давыдовым. Я говорил, что дошёл с его полком до Парижа, но там наша дружба окончилась.

Давыдов – типичный офицер суворовской школы: Суворова он боготворил, хотя поступил на службу, когда тот уже умер. Как его кумир, Давыдов мог дерзить императору, – правда, уже не Павлу, а Александру, – насмешничать над властью и отпускать ехидные замечания в её адрес. Однако это ни в коей мере не означало неисполнение приказов: выполняя приказ, Суворов ловил Емельку Пугачёва и вешал несчастных взбунтовавшихся мужиков; выполняя приказ, подавлял восстание поляков, боровшихся за свою независимость, и громил Варшаву; выполняя приказ, он расправлялся с итальянскими карбонариями и отдавал их города деспотической Австрии.

Давыдов был таким же: если бы ему отдали подобные приказы, он без колебаний исполнил бы их. Власть это понимала и прощала ему фронтёрство: несмотря ни на что, он был её верным защитником, поэтому был произведён в генерал-майоры, а потом – в генерал-лейтенанты. Но для меня политическое и социальное положение России, образ правления ею не были всего лишь поводом для колких эпиграмм: это были принципиальные важные вопросы, и пока они не были решены, ни о каком примирении с властью и речи быть не могло.

Другой трещиной, которая прошла через наши отношения, стал вопрос о православии. Давыдов прохладно относился к вере, а к попам – издевательски, однако это не мешало ему соблюдать установленные обряды, исповедоваться и причащаться у тех же самых попов, над которыми он смеялся. Он «а ргіогі» считал православие лучшей и единственно правильной религией на свете, а католичество ненавидел как главного врага православия. Мои возражения выводили его из себя: он называл меня «аббатом», а порой причислял к врагам России, ведь православие и «святая Русь» были неразрывны в его понимании. Мы спорили до хрипоты и в конце концов должны были расстаться: я перешёл из Ахтырского полка в Лейб-гвардии гусарский полк.

* * *

После заграничной кампании мы вернулись в Россию уже другими. Вот три причины, которые перевернули нашу жизнь: подъём национального чувства в двенадцатом году, несправедливость, допущенная после войны к народу, и увиденное нами за границей.

Обо всём по порядку. Усилившееся национальное чувство заставляло нас по-иному посмотреть на Россию, глубже вникнуть в её прошлое и настоящее. Мы как бы проснувшись для исторической жизни: открыли самих себя, по-новому увидели народ. Этот процесс не угас с победой в войне: он ещё более увеличил прежде начавшуюся в нас напряжённую внутреннюю

работу – мы стали соотносить себя с историей страны, с общенародными судьбами. Вы понимаете, о чём я говорю?

– О, да, вполне! – воскликнула Екатерина Дмитриевна. – Мне это близко; разве я не сказала вам, что у меня самой много вопросов по этому поводу? Я пришла к вам для их разрешения.

– Ну и как? *J'ai aidé à vous de cueillir une pomme?* Я помог вам сорвать яблоко познания? – спросил Чаадаев.

– У меня будто глаза открываются. Прежде я жила, как слепая, – призналась Екатерина Дмитриевна.

– Это лестно, но вы, быть может, оказываете мне большую услугу, чем я вам. Ведь это женщина подвигла мужчину на вкушение плода познания, – в чём я вижу глубокий смысл, – серьёзно ответил он. – Но продолжим. Вторая причина, по которой мы переменялись, – несправедливость по отношению к народу. Здесь мне нечего добавить к тому, что уже сказано: после войны порядки у нас сделались ещё хуже, победившая власть забыла о прежних обещаниях. Самоотверженно сражавшихся с французами мужиков возвращали хозяевам, которые отнимали у них последнее, имели право бить их, продавать, как животных, растлевали их жён и дочерей. Трудно было жить спокойно, видя всё это; надо было отказаться от всего человеческого в себе, что с этим смириться.

Третья причина – жизнь, которую мы видели за границей. Одно дело, когда мы выезжали из России в качестве праздных путешественников, лениво наблюдающих европейские порядки. Другое дело, когда мы провели два года в самой гуще европейской жизни. Мы ужаснулись тому, как плохо выглядит Россия по сравнению с Европой: самый бедный европейский крестьянин жил несравненно лучше наших крестьян; самый необразованный европейский обыватель был намного более цивилизован, чем наши обыватели; самый грубый произвол власти не мог сравниться с российским произволом; самые вопиющие покушения на естественные права человека казались пустяком по сравнению с тем, что творилось у нас.



6. Декабристы. Художник М.В. Добужинский

Не удивительно, что уже за границей многие из нас вступили в тайные общества, предлагавшие свои способы борьбы с несправедливостью. Об этих обществах я расскажу вам чуть позже, в связи с дальнейшими событиями моей жизни, а пока о том, каким было наше житьё после возвращения из Франции.

Чаадаев вдруг улыбнулся, а потом рассмеялся. Глядя на него, заулыбалась и Екатерина Дмитриевна.

– Чему вы смеётесь? – спросила она.

– Вспоминаю наши сумасбродства, – ответил он. – Если до войны особые «coupage» и «choquant», то есть эпатаж общественного мнения, у нас уже были распространены, то после неё они приняли всеобщий характер. Это не было простой данью моде, – скорее, являлось вызовом существующим порядкам и способом показать свою независимость. Мы совершали поступки, которые англичане называют «хулиганством»; нашими идолами были те, кто отличались в нём. Главным был Михаил Лунин.

– Это тот, который... – хотела сказать Екатерина Дмитриевна и запнулась.

Чаадаев внимательно посмотрел на неё.

– Да, он теперь на каторге по делу четырнадцатого декабря. Считается главнейшим государственным преступником, возможно, из-за того, что не сломился в тюрьме подобно многим и не отказался от своих идей. Власть его ненавидит, государя Николая Павловича передёргивает от одного упоминания о Михаиле Луине.

Покойному Александру Павловичу тоже плохо спалось, пока Лунин жил в Петербурге. Его проделки эпатировали весь город; под влиянием Лунина были написаны Пушкиным вот эти строки:

Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем:
Право, нам таким бездельем
Заниматься недосуг.

Смертный миг наш будет светел;
И подруги шалунов
Соберут их легкий пепел
В урны праздные пиров.

Лунин служил в Кавалергардском полку, имея звание штабс-ротмистра, а дом снимал на Чёрной речке. Кроме хозяина, слуг и гостей там проживали ещё девять собак и два медведя, которые наводили ужас на окрестных жителей. Редкий день проходил без проказ. Как-то ночью Лунин на пари поменял местами вывески на Невском проспекте, и вместо магазина дамского белья появился ресторан, вместо ресторана – зубодёрный кабинет, а его место заняло дамское бельё. В другой раз он, опять же на пари, промчался на лошади через весь Петербург в чём мать родила, а ещё раз отправился на лодке к Зимнему дворцу, дождался, когда в окне появится Елизавета Алексеевна, супруга государя Александра Павловича, и спел ей любовную серенаду.

При всём том, Лунин имел доброе сердце: однажды на улице какой-то человек обратился к нему за милостыней – Лунин, не задумываясь, отдал ему свой бумажник, сказав своему спутнику, что если человек, с виду порядочный, вынужден просить милостыню, значит, тут крайние обстоятельства. Может, это был мошенник, но не всякому дано поддаться такому обману, – прибавлю я от себя.

Много проказ было у Лунина, и терпение государя Александра Павловича, наконец, закончилось: он отправил «этого несносного кавалергарда» в отставку. Формальным поводом была дуэль, но я думаю, Александр Павлович просто решил избавиться от человека, всё поведение которого свидетельствовало о нежелании мириться с российской действительностью и все поступки которого носили характер открытого протеста.

* * *

– Другим образцом для нас, – надо сказать, довольно сомнительным, – пожал плечами Чаадаев, – был Фёдор Толстой, прозванный «Американцем». Как Лунин блистал в Петербурге, так Толстой – в Москве. Но в отличие от Лунина у него не было благородных душевных порывов и высоких идей: он бездумно прожигал жизнь и часто совершал неблагоприятные поступки. Я редко видел его тогда, но Булгарин, который дружит со всеми, даже с теми, кто его не переносит, говорил мне, что Толстой был в то время умён и удивительно красноречив. Он любил софизмы и парадоксы, и с ним трудно было спорить. Впрочем, он был добрый мальчик, для друга готовый на всё.

– А почему его прозвали «Американцем»? – спросила Екатерина Дмитриевна.

– Вы не знаете эту историю? – удивился Чаадаев. – Она презабавная. Своими выходками Толстой так замучил начальство, что был отправлен в кругосветную экспедицию Крузенштерна – ведь Толстой окончил Морской кадетский корпус, хотя и служил после в Преображенском полку. Однако и на корабле он продолжал свои проделки: однажды напоил корабельного священника до положения риз, и когда тот уснул на палубе, припечатал его бороду сургучной государственной печатью. Ломать её строго воспрещается, поэтому попу пришлось отстричь бороду.

Было немало другого в таком же роде, – оставить Толстого на корабле Крузенштерн не мог и высадил в Петропавловске-Камчатском. Несколько месяцев Толстой провёл на Алеут-

ских островах, где жил среди местных аборигенов; они уважали его и даже хотели сделать вождём племени. В Россию он вернулся через Америку, тут-то к нему прилипло это прозвище. Помните, как у Александра Грибоедова:

Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом
И крепко на руку нечист,
Да разве умный человек и может быть не плутом?

Это о Толстом написано. Грибоедов был остёр на язык.

– Да, я читала «Горе от ума», – сказала Екатерина Дмитриевна.

– Удивительная поэма – запрещена, а вся Россия её читает. Я водил дружбу с Грибоедовым и после университета, и даже очень близкую. Своего Чацкого в «Горе от ума» он писал с меня, – в Москве утверждают, что я точно так же сыплю остротами перед обществом, – но ей-богу, я не настолько наивен, как Чацкий, я не стал бы рассыпать бисер перед фамусовыми и молчаливыми. Грибоедов написал скорее шарж на меня, чем мой портрет.

Бедный Александр, кто бы мог подумать, что у него будет такая судьба? Растерзан толпой магометанских фанатиков в Персии, тело едва опознали, – с горечью проговорил Чаадаев.

– Какая страшная смерть, – сказала Екатерина Дмитриевна.

– Да, страшная, – вздохнул Чаадаев. – ...Ну, что ещё мне рассказать о Фёдоре Толстом? Он всегда принимал участие в балах, всюю волочился за красавицами и славился своими любовными похождениями. Позже он женился на цыганке из хора, – эта свадьба тоже стала эпатажем для общества. Но более всего известно участие Толстого в дуэлях, поводов к которым оказывалось предостаточно. Как, по-вашему, Екатерина Дмитриевна, дуэли имеют оправдание?

– Наверное, если затронута честь, – подумав, ответила она.

– Отрадно слышать это от вас. Что такое дуэль? Она показывает, что мы свободные люди, и выбор жить или умирать принадлежит если не полностью нам, – роль Провидения здесь тоже важна – то уж, во всяком случае, не власти. Она не имеет права лезть в такие дела, единственным мериллом здесь служит наша честь. Если честь оскорблена, то глупо, низко и пошло прибегать к помощи власти и судиться со своим обидчиком, а уж тем более требовать с него денег за оскорбление – фу, какая мерзость! Дуэль – вот что может защитить наше личное достоинство от попыток посягнуть на него. Конечно, дуэли случаются и по пустякам; конечно, вызвать на дуэль может любой задира, отчаянная голова, бретёр, любящий рисковать своей жизнью и бравирующий своим бесстрашием, но это неизбежные издержки, не меняющие общего правила.

Дуэль, кстати, лучше всего выявляет, каков есть человек, вышедший на неё. Лунин, например, всегда стрелял в воздух, хотя виртуозно владел пистолетом; его противники были далеко не столь благородны, и к военным ранам Лунина присоединились шрамы от нескольких тяжелых ранений на поединках. Как-то он стрелялся на двенадцати шагах с графом Орловым, который был плохим стрелком, так что никто не сомневался в исходе дуэли. Орлов выстрелил и промахнулся; Лунин, как обычно, выстрелил в небо и саркастически предложил противнику попытать счастья ещё раз. Взбешенный граф закричал: «Что же это ты! Смеешься, что ли, надо мною?» – и прострелил Лунину фуражку. Лунин снова выстрелил в воздух, продолжая шутить и ругаясь Орлову за успех третьего выстрела. Тут их остановили секунданты.

Пушкин поступал так же: будучи вызван полковником Ставровым, он стрелялся через барьер. Противник дал промах; Пушкин подозвал его вплотную к барьеру, на законное место, уставил в Ставрова пистолет и спросил: «Довольны ли вы теперь?». Ставров отвечал: «Доволен». Тогда Пушкин опустил пистолет, снял шляпу и сказал, улыбаясь: «Полковник Ставров, слава Богу, здоров!».

В другой раз Пушкин пришел на дуэль с фуражкой, полной черешен, и хладнокровно ел их под пистолетом своего соперника. Наступила очередь Пушкина; вместо выстрела он опять спросил: «Довольны ли вы?». Его противник бросился к нему в объятья, Пушкин оттолкнул его и со словами «это лишнее» спокойно удалился.

Фёдор Толстой был не таков: он убил на поединках одиннадцать человек. Был случай, когда он должен был выступить в качестве секунданта одного из своих близких друзей. Но опасаясь за его жизнь, Толстой сам вызвал противника своего приятеля на дуэль и убил его. Когда ничего не знавший приятель приехал к Толстому, чтобы вместе с ним отправиться на поединок, Толстой сказал: «Этого не нужно. Твой обидчик уже мёртв». Какая смесь благородства и жестокости!

Между прочим, Толстой едва не стрелялся с Пушкиным, когда они крупно поссорились и обменялись обидными эпиграммами. Дуэль еле-еле удалось предотвратить: возможно, Толстой, обычно мстительный, в этот раз был сам заинтересован в примирении, так как знал, что убийство Пушкина наверняка разорвёт его отношения со многими людьми, дружбой которых он дорожил. Впрочем, после они даже подружились и часто встречались за карточным столом. Оба страстно любят карточную игру: Пушкин утверждает, что государь Николай Павлович советовал ему бросить её, говоря: «Она тебя портит!». «Напротив, ваше величество, – отвечал Пушкин, – карты меня спасают от хандры». «Но что ж после этого твоя поэзия?» «Она служит мне средством к уплате моих карточных долгов». И действительно, когда Пушкина отягощают карточные долги, он садится за рабочий стол и в одну ночь отработывает их с излишком. Таким образом у него написан «Граф Нулин». Однако никто не может упрекнуть Пушкина в передёргивании карт, а Толстой, напротив, не скрывает, что играет не всегда честно. Он не любил полагаться на фортуна, а предпочитал играть наверняка, так как, по его словам, «только дураки играют на счастье». Пушкин рассказывал, что когда Толстой передёрнул в игре с ним, он заметил ему это. «Да, я сам знаю, – отвечал ему Толстой, – но не люблю, чтобы мне это замечали».

* * *

– Вот мы и подошли к рассказу о Пушкине, – сказал Чаадаев. – Не желаете ещё чаю?

– Нет, благодарю, – отказалась Екатерина Дмитриевна.

– Тогда я налью себе, обождите минуту, – он налил себе чашку и уселся на своё место. – Пушкин – гений, и как всякий гений неподвластен людскому суду. Гений может казаться нам странным, смешным, невыносимым, но он живёт по своим законам, – они установлены для него Богом, и только перед Богом гений держит ответ. К Пушкину это относится в полной мере: когда я познакомился с ним в Петербурге после войны, мне было странно, что в этом человеке скрыт такой огромный талант. Признаться, меня на первых порах раздражало его поведение: он кривлялся, дурачился, паясничал, – одним из его прозвищ было «Обезьяна». Иван Тимирязев мне рассказывал, что Пушкин как-то пришёл к нему и не застал дома. Но слуга сказал, что барин скоро возвратится, и Пушкин остался дожидаться. В зале был большой камин, а на столе лежали орехи; услышав шаги Тимирязева, Пушкин взял орехи, залез в камин и, скорчившись обезьяною, стал их щелкать. Можно себе представить удивление Тимирязева, когда он застал Пушкина в этом положении!

Екатерина Дмитриевна расхохоталась:

– А если прибавить к этому, что Пушкин похож на арапа!.. Да, смешно!

– Пушкину вечно приходится отбиваться от насмешек по поводу своей арапской внешности, – подхватил Чаадаев. – Его дядя Василий Львович поведал в Английском клубе, как в своё время Иван Иванович Дмитриев, наш известный писатель, посетил дом родителей Пушкина. Подшучивая над арапским лицом мальчика и его кудрявыми волосами, Дмитриев сказал: «Какой арапчик!». В ответ на это десятилетний Пушкин неожиданно отрезал: «Зато не

рябчик!»». А надо заметить, что физиономия Дмитриева была обезображена рябинами, так что сей писатель был сильно сконфужен.

– Какой меткий ответ, какая живость ума! – продолжала смеяться Екатерина Дмитриевна. – И это от десятилетнего ребёнка!

– Если хотите, я могу рассказать ещё несколько подобных историй о Пушкине. Я люблю его, и мне доставляет удовольствие добродушно подшучивать над ним, – улыбнулся Чаадаев.

– С превеликой охотой послушаю их. Да кто же у нас не любит Пушкина? – ответила Екатерина Дмитриевна.

– Он наше национальное достояние, – согласился Чаадаев. – Пока жива Россия, Пушкин будет с нею; можно сказать по-другому: пока в России знают и любят Пушкина, она жива. Меня поражает, как один человек смог объять все стороны русской жизни и метко обозначил их чеканным звучным словом. То над чем лучшие умы годами ломают голову, у Пушкина разрешается в единый миг и облачается в короткую, но емкую фразу, – ни прибавить, не отнять! Да, такова сила истинного гения, – весь мир подвластен ему, он же неподвластен ничему...

Однако я обещал вам рассказать забавные истории о Пушкине, – вот они, слушайте. Вначале эпитафия, которую он сочинил себе. Что же здесь забавного, спросите вы? Эпитафия вещь печальная. Но Пушкин написал так:

Здесь Пушкин погребён; он с музой молодою,
С любовью, ленью провёл весёлый век;
Не делал доброго, однако ж был душою,
Ей-богу, добрый человек.

Великолепная самоирония, не правда ли? Иронией он, вообще, владеет превосходно. В нашем небольшом кружке он читал как-то свои стихотворения. Одно из них было «Демон» и заканчивалось следующим образом:

Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Тут Пушкин заметил, что молодая дама по имени Варвара Алексеевна зевнула, и мгновенно произнёс ещё четыре строфы:

Но укротился пламень гневный
Свирепых демоновских сил,
И он Варвары Алексеевны
Зевоту вдруг благословил.

– Как мило! – продолжала улыбаться Екатерина Дмитриевна. – А Пушкин счастлив в любви? – неожиданно поинтересовалась она.

Чаадаев задумался.

– Пожалуй, нет, – отвечал он. – У него странная натура: он быстро охладевает к женщинам, которые его любят. Я знаю несколько его страстных привязанностей, когда на первых порах он горел любовью, но стоило ему добиться расположения своей избранницы, огонь быстро затухал. Мне кажется, он может любить по-настоящему только тогда, когда в этой любви есть что-то необычное, переступающее все границы, доставляющее запредельные ощущения. В свете это называют «роковой любовью», – возможно, она и есть самая сильная. Но

счастье ли это? Если да, то весьма своеобразное, доступное лишь избранным, которые сами выходят за рамки обычного. Простое человеческое счастье для таких людей скучно, – боюсь, Пушкин из их числа.

Не в этом ли, кстати, причина его удивительной женитьбы? Что общего у него с этой барышней Натальей Гончаровой, которая только что красива, но более ничем не примечательна? Они даже по росту не подходят друг другу: Пушкин едва достаёт ей до плеча, он говорит, что ему быть подле неё «унизительно». Между тем, он постоянно должен вывозить её в свет и ко двору, где сам государь Николай Павлович неравнодушен к ней. Специально для того, чтобы Пушкин не вздумал держать жену дома или уехать с ней в деревню, Николай Павлович дал ему звание камер-юнкера, которое обычно дают мальчишкам, – а Пушкину уже далеко за тридцать!

Да если бы один государь: мне пишут из Петербурга, что вокруг Натальи Пушкиной постоянно увиваются столичные ловеласы, а она их привечает, не видя ничего зазорного в том, что французы называют «flirt». Но так недалеко дойти и до другого французского словечка – «l'adultère». Право же, от флирта до адюльтера – небольшая дистанция, которую легко преодолеть. Поразительно, но Пушкин написал в своё время подходящие стихи:

У Кларисы денег мало,
Ты богат – иди к венцу:
И богатство ей пристало,
И рога тебе к лицу.

У его Кларисы – Натали – действительно денег было мало, так что Пушкину пришлось заложить имение, чтобы дать деньги своей будущей теще на устройство этой свадьбы и на приданое для его же невесты. Кто бы ещё взял в жены бесприданницу, – может, оттого она и пошла за него?.. И вот теперь он получил эту адскую петербургскую жизнь, от которой мучается и страдает. Помимо прочего, всё это отвлекает его от работы, а он живёт исключительно тридцатью шестью буквами русской азбуки, как он сам любит повторять. Однако, может быть, в этом мучении он находит тот особый род удовольствия, о котором я сказал. Тут вам и «страсти роковые, и от судеб спасенья нет», – и упоение на краю мрачной бездны.



7. Н.Н. Пушкина. Художник В.И. Гау.

Екатерина Дмитриевна вздрогнула:

– Чем же это закончится?

– Ничем хорошим, – мрачно ответил Чаадаев. – То что эта женитьба не приведёт к добру, что она станет роковой для Пушкина, было ясно уже из сопутствующих ей обстоятельств. Достаточно сказать, что Пушкина с Натали Гончаровой познакомил Фёдор Толстой, от которого исходит какая-то злая сила и губит всё, к чему он прикасается. Он же отвёз Наталье Ивановне, матери Гончаровой, письмо от Пушкина, в котором тот объявил о своём намерении жениться на Натали. Но судьба будто предостерегала Пушкина от этой женитьбы: когда все приготовления были закончены, он застрял в своём имении из-за холерного карантина. Там, в Болдине, он написал замечательные стихи и прозу, будто спел свою лебединую песню. А во время венчания в Москве были дурные знаки: вначале Пушкин задел за аналой, с которого упали крест и Евангелие, потом при обмене кольцами одно из них тоже упало, и вдобавок погасла свеча.

– Какой ужас, – прошептала Екатерина Дмитриевна.

Чаадаев молча кивнул.

– Да, женитьба имеет большое значение в жизни мужчины, – проговорила Екатерина Дмитриевна и, спохватившись, что сказала банальность, вдруг спросила: – А почему вы не женаты?

– После эдаких примеров? – ответил Чаадаев, невесело усмехнувшись – Надо учиться на ошибках других, а не совершать собственных.

– Может быть, вы просто ещё не встретили женщину, которая вас поймёт и разделит вашу судьбу? – она пристально посмотрела на него.

– Может быть, – он тоже посмотрел ей в глаза.

* * *

Наступила пауза.

– Но вы обещали рассказать мне о неких тайных обществах, – выпалила Екатерина Дмитриевна, чтобы прервать неловкое молчание. «Трусиха, трусиха, трусиха!», – повторяла она про себя.

– Что же извольте, – сказал Чаадаев, отведя глаза и нахмурившись. – Тем более что это в какой-то степени тоже имеет отношение к Пушкину: мы с ним оба были в масонах – он входил в ложу «Овидий», я – в ложу «братьев Иоанна»... Вот с масонов мы и начнём. Теперь в этом нет секрета, большинство лож закрыто, их участники разошлись, хотя масонское движение ещё существуют, – вы знаете, что это такое?

– Приблизительно, – ответила Екатерина Дмитриевна.

– Оно берёт своё начало в глубокой древности, – стал рассказывать Чаадаев, по-прежнему не глядя на неё. – Всё началось со строительства храма царя Соломона в Иерусалиме. Царь Давид, отец Соломона, завоевал этот город и перенёс туда Ковчег Завета, а для него нужно было достойное помещение. Давид купил у местного вождя Аравны гору Мориа, где воздвиг на месте гумна жертвенник Богу. Давид намеревался соорудить на этом месте храм, однако, вняв словам пророка Натана, оставил это дело своему сыну Соломону. На строительство были отданы богатства Давида, захваченные им в войнах: огромные запасы золота и серебра и несметное количество железа и меди.

Соломон приступил к строительству храма на четвёртый год своего царствования; за содействием он обратился к финикийскому царю и тот прислал опытного зодчего по имени Хирам. Через семь лет храм Соломона был построен, и не было на земле здания величественнее и прекраснее его. Однако это строительство стоило Хираму жизни: он был убит троими подмастерьями, пытавшимися узнать тайны его мастерства. Оно было не просто мастерством зодчего, но включало в себя высшие знания, которые были открыты Хираму самим Творцом, – ведь храм Соломона должен был стать прообразом Вселенского храма, который надлежало построить во исполнение заветов Господа и по его законам.

Много веков прошло с тех пор, но верные ученики Хирама хранили его секреты, создав особое братство каменщиков; много позже французы назвали их «масонами», – «masson» означает «каменщик» на старофранцузском. Это братство помогло Зоровавелю, потомку Давида и Соломона, восстановить храм на горе Мориа, разрушенный нечестивым царём Навуходоносором. Но через шестьсот лет храм Соломона опять был разрушен, на этот раз римлянами, таким образом наказавшими иудеев за восстание, и прошла тысяча лет, прежде чем он был отстроен вновь. Теперь за дело принялись рыцари-крестоносцы, освободившие Иерусалим от сарацин, а на помощь крестоносцам вновь пришло братство каменщиков, ибо было сказано в священных книгах, что дело Хирама по строительству Вселенского храма будет продолжено мессией из рода Давида, потомком Зоровавеля, а Христос, которому поклонялись крестоносцы и которого чтили как мессию, и был потомком Давида, Соломона и Зоровавеля.

На горе Мориа рыцарями был воздвигнут храм, являющийся копией древнего, но не столь богатый. Здесь было основано новое братство – орден Храма Соломонова; в Европе этих рыцарей прозвали «тамплиерами» от французского «temple» – «храм». Им прежнее братство каменщиков передало свои тайны, они должны были завершить дело Хирама. Им же достался бесценный дар – Святой Грааль, чаша, из которой Христос вкушал на Тайной вечере и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран распятого на кресте Спасителя. Сила её огромна, владеющий ею получает бессмертие.

Много добра совершили рыцари Храма, но мощь и независимость этого ордена не давала покоя властителям, светским и духовным. Подобно Навуходоносору, они не выносили напоминаний о заветах Бога и высшей справедливости. Рыцарей Храма обвиняли во всех смертных грехах, любой проступок ставили им в вину, – в конце концов, этот орден был уничтожен, его последний магистр сожжён на костре. Однако братство каменщиков или, теперь по-другому, братство Храма Соломона пережило и эти гонения и снова возродилось для достижения своей великой цели.

Было бы слишком долго перечислять, сколько полезного и благого сделали масоны за последние пятьсот лет, скажу только, что успехи европейской цивилизации во всех её видах во многом связаны с масонской деятельностью. Строя Вселенский храм в фигуральном смысле, они не забывали о практическом воплощении этой идеи, как в материальном, так и в духовном плане. Не случайно в прошлом веке, о котором мы с вами говорили, и который является веком Просвещения, не было, пожалуй, ни одного стремящегося к высоким идеалам человека, который не состоял бы в масонах. Россия не была исключением: у нас было много масонских лож в Петербурге и ещё больше в Москве.

* * *

– Но, говорят, масоны хотели разрушить Россию? – осмелилась спросить Екатерина Дмитриевна. – Императрица Екатерина будто за это запретила их ложи?

– Зная ваше благородство и ум, уверен, что вы сказали это исключительно под воздействием тех измышлений, которые распространяют о масонах представители власти, а также те, кто хотели бы, чтобы мы всю жизнь оставались средневековым московским царством, – желчно ответил Чаадаев. – Им масоны, как кость в горле. Каждый новый Навуходоносор не может стерпеть вызова его деспотическому правлению, его страшат планы построения всемирного Храма, где восторжествуют идеалы равенства, свободы и справедливости. Что касается поборников православия, самодержавия и так называемой народности, то эти принципы уже завели нас в тупик, а впереди будут ещё большие разочарования...

Каких только ужасов не рассказывают о масонах: они, де, убийцы, отравители, разрушители государственных устоев, – и так далее, и тому подобное. Между тем, в уставе масонских лож нет ни единого намека на что-либо похожее; даже с несправедливой властью предлагается бороться одними только методами убеждения и кропотливой работой по её исправлению.

Каждый масон должен прежде всего позаботиться о своей нравственности, на собраниях масонов даются уроки по очищению души от скверны. Два основных инструмента всегда находятся в ложе: это циркуль и наугольник. Эти инструменты символичны: масоны должны выверять свои действия наугольником добродетели и учиться ограничивать свои желания и сдерживать свои страсти внутри должных границ по отношению ко всему человечеству.

В масонских наставлениях сказано, что надо вести себя так, как подобает члену цивилизованного общества, подчиняться закону Высшего Существа, а также подчиняться закону страны, в которой проживает масон. На последнее я обращаю ваше особое внимание, ибо это начисто опровергает злые байки о масонах-разрушителях. Подумайте сами, могли бы состоять в масонах многие и многие уважаемые, в высшей степени добропорядочные люди,

если бы они должны были убивать, травить ядами или совершать какие-либо иные аналогичные преступления? Мог ли стать масоном, к примеру, Пушкин, если бы от него требовались такие злодеяния?

– Да и вы тоже, – виновато заметила Екатерина Дмитриевна.

– Благодарю, – кивнул Чаадаев. – Что касается масонов, их беда состоит как раз в идеализме, в слишком медленной и порой слабой борьбе с вопиющей несправедливостью окружающего мира. Они уходят от реальности в мистические обряды и отвлечённые размышления.

Безусловно, среди масонов есть и те, кто вступает в ложи, чтобы установить связи с влиятельными людьми, сделать себе карьеру, но ни одно самое лучшее общественное движение не может, увы, сохранить себя от таких проходимцев. Это было, кстати, одной из причин, по которой я вышел из ложи – не хотелось знаться с теми, кто пришёл к нам из-за своих меркантильных интересов. Первой же и главной причиной была та самая медлительность, о которой я сказал. Медленно, по кирпичику строить всемирный Храм, надеясь, что через тысячу или более лет, он будет, всё-таки, построен, очень трудно, когда видишь гибельное несовершенство современного государственного устройства и страдания народа.

Я был не единственный, покинувший масонов по этой причине, – почти все участники движения, закончившегося четырнадцатого декабря двадцать пятого года на Сенатской площади, поступили также.

* * *

– Вот мы и добрались до самой опасной темы нашего сегодняшнего разговора, – проговорил он после небольшого молчания. – Надо ли продолжать? Правдиво рассказывая о декабристах, я становлюсь преступником в глазах нынешней власти, а вы моим соучастником, коли слушаете меня. Безо всяких шуток, вы можете жестоко поплатиться за это, ведь нам велено считать декабристов извергами, набравшимися западной заразы.

– Я не боюсь. Рассказывайте, Пётр Яковлевич, – решительно сказала Екатерина Дмитриевна.

– Лишний раз убеждаюсь в вашей смелости, – он не удержался и поцеловал ей руку. – Что же, будем продолжать... В Манифесте государя Николая Павловича, выпущенном в день казни Пестеля, Рылеева, Муравьёва-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского, говорилось следующее...

Позвольте, я зачитаю, я держу сей документ как политическую декларацию нашей российской власти, – он достал бумагу из ящика бюро. – Итак, читаю выборочно: «Преступники восприняли достойную их казнь; Отечество очищено от следствий заразы, столько лет среди его таившейся... Не в свойствах, не во нравах русских был сей умысел. Составленный горстью извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную; но сердце России для него было и всегда будет неприступно...»

Все состояния да соединятся в доверии к правительству. В государстве, где любовь к монархам и преданность к престолу основаны на природных свойствах народа; где есть отечественные законы и твердость в управлении, тщетны и безумны всегда будут все усилия злонамеренных: они могут таиться во мраке, но при первом появлении, отверженные общим негодованием, они сокрушатся силою закона. В сем положении государственного состава каждый может быть уверен в непоколебимости порядка, безопасность и собственность его хранящего, и, спокойный в настоящем, может смотреть с надеждою в будущее».

Он положил бумагу в бюро и сказал:

– А я, вот, «не смотрю с надеждою в будущее». Напротив, считаю, что неудача декабристского движения отбросила Россию на много лет назад; что в результате этой неудачи в России восторжествовали самые отвратительные формы деспотии и мракобесия; что Россия,

и без того отставшая от Европы в отношении неотъемлемых свобод человека, теперь отстанет ещё более...

Многие мои друзья теперь на каторге, – со вздохом продолжал он. – Я сам был под арестом и едва избежал их участи. Известно ли вам, что я был одним из первых, кто вступил в тайное общество в Петербурге?

– Нет, – ответила поражённая Екатерина Дмитриевна. – Я этого не знала.

– Об этом сейчас не принято говорить, но вам я скажу. Я вступил в него сразу по выходе из масонской ложи и одновременно после моей отставки из полка. Она тогда многих удивила, а между тем, была настолько естественной в сложившихся обстоятельствах, что следовало удивляться, почему она вызвала удивление. Служить власти, которую не приемлешь, да ещё получать деньги и чины за эту службу – это что-то противоестественное, от чего можно свихнуться, спиться или стать подлецом.

В это время я окончательно убедился, что размеренная масонская работа по постепенному преобразованию общества если и принесёт свои плоды, то в отдалённом будущем; мне теперь было достаточно ничтожного повода, чтобы оставить службу, и он представился, причём, очень серьёзный. Взбунтовался Семёновский полк, так как полковник Шварц, – у него явно не все были дома, – вытворял странные вещи в полку, выдвигая немыслимые требования к солдатам и подвергая их изуверским наказаниям.

Доведённые до отчаяния солдаты одной из рот самовольно вышли на переключку и отказались идти в караул. Они были арестованы и отведены в Петропавловскую крепость. Остальные роты решили заступиться за товарищей и выказали непослушание явившемуся высшему начальству, потребовали освобождения товарищей из-под ареста или отправить в крепость весь полк. Начальство приняло второй вариант: под конвоем казаков, без оружия, полк проследовал в Петропавловскую крепость. После этого нижние чины были развезены по разным крепостям Финляндии; потом многие из них были прогнаны сквозь строй и сосланы в каторжную работу. Офицеры же были выписаны в армию с запрещением давать им отпуска и принимать от них просьбу об отставке; запрещено было также представлять их к какой бы то ни было награде. Четверо из офицеров были отданы под военный суд.

К счастью, в Семёновском полку уже не служил мой друг Иван Якушкин, а то по своей горячности он бы наломал немало дров; но от судьбы не уйдёшь, он всё равно попал на каторгу после четырнадцатого декабря...

С рапортом о бунте полка Васильчиков отправил меня к государю Александру Павловичу, который вёл тогда переговоры в Австрии. Все адъютанты завидовали мне – ещё бы, стоило при докладе государю прибавить пару-тройку комментариев от себя, в том роде, в каком он ждал, и можно было не сомневаться в его благосклонности со всеми вытекающими приятными последствиями. Однако в моей голове родилась дерзкая мысль, – Чаадаев вдруг озорно прищурился, – я решил произвести лихую гусарскую атаку на Александра Павловича, то есть выложить ему всё, что я думаю о положении России и недостатках её управления. Так я и сделал; надо было видеть его удивление при моём докладе! Самое забавное, что он не знал, как вести себя в такой ситуации, он не привык к тому, что ему говорят правду. Он должен был для виду поддерживать беседу со мной, соглашаться и вздыхать о наших российских неурядицах, – он не мог отделаться от меня целый час. После этого аутодафе потрясённый Александр Павлович более не хотел видеть меня, и моя отставка свершилась сама собой.

* * *

В Петербург я вернулся героем, все порядочные люди стремились засвидетельствовать мне своё почтение; тогда же мне предложили вступить в общество, готовившее переворот в России. Моим крёстным отцом стал Якушкин; я дал обет хранить тайну, которую, надо заме-

тять, можно было не хранить вовсе, потому что о существовании этого общества и ему подобных знали в России все, включая государя. Все разговоры в свете только и были об этих обществах и их идеях, об этом писали стихи, которые открыто публиковали в журналах. Пушкин посвятил мне своё послание, где без обиняков говорил:

...Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждём с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья...

Товарищ, верь: взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Куда уж откровеннее! О какой тайне могла идти речь?.. Да, заговорщики из нас были никакие, даже самые-самые секретные дела общества получали огласку. Например, на наших собраниях обсуждался вопрос о цареубийстве: Якушкин брался убить царя во время смотра войск, дабы дать знак к началу восстания. Были и более радикальные предложения – уничтожить всю царскую семью, до единого человека.

– Как, и детей?! – перебила его поражённая Екатерина Дмитриевна.

– Всю семью, – кивнул Чаадаев. – По-человечески я понимаю ваше неприятие такого жестокого плана, но политическая жизнь идёт по своим законам. Вспомните, сколько женщин и детей погибли в ходе борьбы за власть в царственных династиях Европы и Азии. А у нас разве было по-другому? Православный благоверный царь Иван Грозный истребил почти всех детей и внуков своих дядьев Андрея Старицкого и Юрия Дмитровского. Причем, Мария Старицкая была убита в десятилетнем возрасте, её сестра Евдокия – в девять лет, их брат Юрий – в шесть лет. Царь Иван не пощадил даже жену своего слабоумного родного брата Георгия – она была потоплена в реке вместе с тёткой Ивана.



8. Пушкин среди декабристов. Художник Д.В. Кардовский.

Пётр Великий уморил в монастыре свою сестру Софью и запытал до смерти своего сына Алексея; дочь Петра, Елизавета, заключила в крепость малолетнего императора Ивана Антоновича, а при матушке-государыне Екатерине Второй, захватившей власть незаконно и сильно опасавшейся, что кто-то захочет повторить эту попытку, несчастный Иван Антонович был убит.

Это примеры, которые сразу пришли мне в голову, но если вспомнить хорошенько, их гораздо больше, – как видите, царственные особы сами подают нам пример истребления своих семейств. Власть даёт её верховным представителям огромные привилегии, но связана при этом с ещё большими опасностями, одна из них – погибнуть вместе со всей семьёй. С точки зрения холодной логики нет никакой разницы между убийством царственных отпрысков во имя династических интересов или во имя интересов народа: французская революция это отлично доказала.

Если вы продолжаете сомневаться в этом, снова приведу слова Пушкина в доказательство. Как положено гению, он высказался на сей счёт откровенно и ясно:

Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.

Ну, кто бы ещё мог сказать, что видит смерть детей с «жестокой радостью»?..

Однако участников наших тайных обществ никак нельзя обвинить в жестокости, – прибавил Чаадаев, – если она имела место, то лишь в разговорах. Собственно, вся деятельность наших якобинцев ограничилась одними беседами, а более того, бесконечными спорами. Но и это не дало никакого результата: единого плана действий выработано не было, программы

– также, дата выступления переносилась несколько раз. Единственные вещи, которые были постоянными, это типично русские расхлябанность и бестолковщина.

Всё это в полной мере проявилось на Сенатской площади: как мне рассказывали, там творилось что-то невообразимое – если бы эти события не закончились столь трагически, они могли бы послужить сюжетом для водевиля. Чего стоит уверенность солдат, что Конституция – это жена великого князя Константина: она, де, женщина хорошая, будет править по-доброму, поэтому ей надо присягать. И ведь никто не удосужился объяснить им истинные цели восстания, да и не до того было: Сенат, который хотели заставить подписать постановление об отстранении Николая Павловича от власти, оказался пуст, а назначенный руководителем выступления князь Трубецкой весь день проходил возле Сенатской площади, но так туда и не дошёл.

Самым ярким персонажем этого дня стал молодой князь Одоевский, милый юноша, неудачливый поэт, – он бегал по площади обнимал всех подряд и восторженно кричал: «Мы погибнем! Мы погибнем! Как славно мы погибнем!». Справедливости ради следует сказать, что в правительственном лагере царил точно такой же бардак, но там сумели быстрее опомниться и превратили фарс в трагедию.

* * *

– Увы, я предвидел такую развязку за два года до восстания! – вздохнул Чаадаев. – С болью душевной я должен был признаться себе, что ничего путного из нашего так называемого заговора не выйдет. Всё реже и реже я посещал наши собрания и вскоре перестал ходить на них. Я впал в глубокую меланхолию, совершенно не свойственную моему характеру, российская жизнь мне опостылела. *Si tu veux dissiper la tristesse, rendez-vous dans un voyage* – если хочешь избавиться от печали, путешествуй – советуют нам французы, и я отправился в вояж.

Три года я ездил по Европе, но потом возвратился в Россию. Причины были как чисто земные, так и возвышенные. Во-первых, деньги заканчивались; во-вторых, мне было неловко оставаться за границей после событий четырнадцатого декабря, в результате которых пострадали мои товарищи, – Лунин точно также сам вернулся в Россию и сдался властям. В-третьих, я остро почувствовал, что, как ни мила мне Европа, жить я могу только в России. Нам, русским, как никакому другому народу, присуща тоска по Родине. Цыгане живут в дороге, их своеобразие и колорит связаны с бродячей жизнью, – заставьте цыган жить оседло и они перестанут быть цыганами. Евреи, потеряв в древности свою родину, находят её там, где существуют их общины. Но мы, русские, так крепко привязаны к своей стране, что без неё сохнём и погибнем. Немногие из нас могут жить вдаль от России, но если даже выживают, теряют свои русские черты и уже во втором поколении становятся иностранцами. Женщине это сложно понять – для неё дом там, где её муж и дети.

– Отчего же вы такого низкого мнения о нас? – возразила Екатерина Дмитриевна.

– Почему низкого? В этом смысле женщина сильнее мужчины, – сказал Чаадаев. – Но не будем спорить, ночь проходит, а мне надо закончить свой рассказ.

На границе меня обыскали и поместили под арест. На допросах я узнал, что показания на меня дал Иван Якушкин, мой лучший друг. Позже он написал мне, почему это сделал: его заковали по рукам и ногам и держали в сырой камере на хлебе и воде. Если бы он хотя бы частично признался, его режим смягчился бы, – вот он и решил выдать меня, будучи уверенным, что я за границей и мне ничто не угрожает.

Сорок дней я провёл в заточении; меня спасло то, что следствие по делу четырнадцатого декабря уже было закончено и приговор оглашен. Правительство было не заинтересовано в расширении числа участников заговора, иначе пришлось бы арестовать ещё многих, так или иначе причастных к нему, а среди них были видные персоны.

Дальнейшее вы знаете: с меня взяли подписку не участвовать более ни в каких тайных обществах и выпустили под надзор полиции. Я уехал в имение своей тётушки под Москву...

– Где я впервые увидела вас, – подхватила Екатерина Дмитриевна. – Но вы были тогда увлечены Авдотьей Норовой.

– Бедное создание! Она была не от мира сего; я любил её той трогательной любовью, какой любят больного ребёнка, – вздохнув, признался он.

– Царствие ей небесное! – сказала Екатерина Дмитриевна. – Каюсь, я была несправедлива, я дурно отзывалась о ней. Но если бы не она, мы с вами не познакомились бы.

– Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорят в народе, – Чаадаев, не отрываясь, смотрел на неё.

Она обняла его голову и нежно поцеловала в лоб.

– Вот вам задаток от меня. А сейчас мне пора уезжать.

– Но вы приедете? – с надеждой спросил он.

– Да, обязательно, – она встала с кресла. – Вы не рассказали мне о своих теперешних мыслях, о своих чаяниях. Я хочу всё-всё знать о вас, а после...

– Что будет после?

– Вы же верите в судьбу: она не случайно свела нас – на радость или на горе, – отвечала Екатерина Дмитриевна. – Пока прощайте и не провожайте меня, – я зайду к Кити, я ей обещала...

– Что Екатерина Гавриловна? – спросила она сонного лакея в швейцарской главного дома.

– Почивают-с. Всю ночь просидели около младшей дочери, у неё жар. Только под утро заснули-с. Прикажете разбудить? – с неудовольствием спросил он.

– Нет, не надо, пусть отдыхает, – отказалась Екатерина Дмитриевна. – Когда проснётся, скажи ей, что я поехала домой. В следующий раз приеду, поговорим.

* * *

... Чаадаев посмотрел на часы и позвал слугу:

– Елисей! Госпожа Панова не приезжала?

– Никак нет, барин. Как приедут, доложу, – ответил он, не сумев скрыть улыбку.

– Ну, ступай, – махнул на него Чаадаев. – Да не забудь принести всё для чая.

Он взял исписанные за предыдущие дни листки и принялся бегло читать их, тут же внося кое-какие правки. Сегодня в этих странных ночных беседах будет главная, наиболее болезненная тема: поймёт ли Екатерина Дмитриевна, не отвернётся ли от него? В своей одинокой жизни он редко встречал человека, который был бы так близок ему, чьим отношением он бы так дорожил.

– Приехали! – закричал Елисей, ворвавшись в комнату. – Прикажете впустить?

– Чего ты кричишь? – сморщился Чаадаев. – Конечно, впустить. И неси чай.

– Вот и я, – сказала Екатерина Дмитриевна. – Приехала, как говорила.

– Как долго вас не было, – сказал он, целуя её руку дольше обычного.

– Я не могла приехать раньше, муж не отпускал, – объяснила Екатерина Дмитриевна.

– Неужели он узнал про наши ночные разговоры? – Чаадаев был неприятно поражён.

– Не знаю. Мне кажется, нет, иначе был бы скандал. Но он сердит на меня: он хочет, чтобы я перевела на его имя моё имение и дала ему возможность свободно распоряжаться им. У мужа сейчас потребность в деньгах... Но не будем об этом, – она улыбнулась Чаадаеву. – Я приехала, и мы опять будем одни, в одном только нашем мире. Я просила рассказать вас о самом важном – о ваших мыслях, о ваших надеждах. Это очень важно и интересно для меня.

– Я встретил в вас такое сочувствие, о котором не смел мечтать. Вы вдохновляете меня, как муза вдохновляет поэта, – смотрите, сколько я исписал, готовясь к встрече с вами, – он показал на свои листки.

– Мне очень приятно это слышать. Налейте же чай своей музе, и она до утра будет слушать вас, – ласково сказала Екатерина Дмитриевна.

– Вы ангел, – он склонился перед ней. – Видно, я не так плох, если Бог подарил мне встречу с вами.

– Вы плохи?! Да вы лучший человек из всех, кого я встречала! – горячо отозвалась она.

– Екатерина Дмитриевна!.. – он взял её за обе руки.

– Я была бы вашей, если бы была свободна, – прошептала она, едва сдерживаясь. – Существуют границы, которые я не могу перейти.

– Вы правы, – ответил он, выпуская её. – Мы перестали бы уважать самих себя, если бы переступили через эти границы... Ну-с, вы будете меня слушать? – с напускной весёлостью спросил он, чтобы отогнать дурные мысли. – Сейчас я налью вам чай и разверзну свои многоречивые уста. Пеняйте на себя, если я окончательно уморю вас умными рассуждениями.

– Я готова пострадать, Пётр Яковлевич, – в тон ему ответила Екатерина Дмитриевна. – Мне не на кого пенять, сама того хотела.

– Сегодня мы поговорим о вере, это самый важный разговор, ибо что такое человек без веры, – без веры в широком смысле этого слова? Человеку надо во что-то верить, чтобы жизнь его не была пустой, – сказал он, налив чай себе и ей. – Церковь предлагает нам присоединиться к её вере, утверждая, что без церкви верить нельзя, но так ли это? Что представляет собой церковь вообще и православная церковь, в частности?

Спрошу по-другому, что дало православие России?

* * *

– Начнем с начала, – сказал он, – то есть с принятия православия на Руси. Здесь многое зависело от нашего географического положения: стареющая Византийская империя была ближе к нам, чем молодая Европа. Влияние Европы на Русь было ничтожно, влияние Византии – огромно; уже поэтому мы были обречены на православие. Примечательна личность князя Владимира, при котором произошло крещение Руси: распутник, пьяница, предатель и убийца – вот лишь некоторые черты его портрета. Христианство было чуждо ему, он приказал убить своего брата Ярополка Святославича, принявшего христианскую веру и проповедовавшего учение Христа на русских землях. Однако вскоре князь Владимир понял выгоды новой веры, учившей повиновению земному правителю, как подобию Бога на земле, – к тому же, Владимиру был нужен прочный союз с Византией, которая хотя и дряхлела, но всё ещё считалась первейшим государством в Европе и Азии. Как рассказывает нам Карамзин, князь Владимир предложил византийским императорам Василию и Константину помощь в подавлении мятежа Варды Фоки, а за это потребовал руку их сестры принцессы Анны. Можно представить, какой ужас она испытала при известии, что её хотят выдать замуж за варвара, известного буйным образом жизни и развратом, – одних дворцовых наложниц у Владимира было более трёхсот.

Императоры отказались выдать за него Анну, тогда в самый разгар мятежа Владимир захватил Корсунь и угрожал оттуда Константинополю. В результате, он, всё-таки, получил в жёны эту византийскую принцессу и заодно крестился, причём, его восприемником был император Василий, в честь которого Владимир получил своё христианское имя. Удачная женитьба и переход в византийскую веру обеспечили ему необходимый союз с Византией, но, что было ещё важнее для Владимира, он смог теперь распространить византийские порядки на все подвластные ему земли. Народ должен был безоговорочно принять их, то есть подчиниться князю и церкви, или жестоко поплатиться за неповиновение.

В связи с этим выражение «крещение Руси» относится, как отмечают люди, не склонные идеализировать князя Владимира, к числу не просто неудачных или неточных, а глубоко ошибочных, вводящих в заблуждение. Это словосочетание, говорят они, предполагает быстрое и повсеместное приобщение к новой вере всего народа и целой страны. Между тем такого события история не знает: был продолжительный, растянувшийся на несколько столетий процесс введения православия в качестве государственной религии сначала Киевской, а затем Московской державы.

Православие было встречено русским народом без особого восторга. Киевлян крестили привезённые Владимиром из Крыма греческие священники. Как мы знаем из летописей, народ загоняли в реку, как стадо, многие «не по любви, а из страха перед князем крестились». Таким же было крещение в Новгороде – там Добрыня, дядя Владимира, крестил непокорных новгородцев огнём и мечом. Бунты, сопровождающие распространение православия, были неосознанным протестом, – народ будто предчувствовал, во что его ввергают, какой гнёт будет давить его на протяжении тысячи лет. Православные иерархи и князья сделались двумя лицами страшного Януса власти. Митрополит Никифор, автор послания к Владимиру Мономаху, писал: «Как Бог царствует на небесах, так и князья избраны от Бога».

– Я тоже не склонная идеализировать православие, – сказала Екатерина Дмитриевна, – но, по крайней мере, в России не было инквизиции.

– Вы заблуждаетесь, инквизиция была у нас, да ещё какая, – возразил Чаадаев. – Правда, Приказ инквизиторских дел был учреждён лишь при Петре Великом, – первым Великим инквизитором России стал архимандрит Данилова монастыря Пафнутий, – однако и до этого православная церковь применяла жесточайшие способы борьбы со всеми, кто осмеливался быть несогласным с нею. В России еретиков судили по «градскому» закону, но это, по словам Карамзина, было лишь данью пристойности. Православная церковь посылала на костры еретиков и ослушников собственной властью, светская же власть была лишь исполнительницей её требований и приговоров.

Татары, подчинившие себе Русь в тринадцатом веке, быстро поняли выгоды православия для собственной власти. По указу хана Менгу Темира русским митрополитам было предоставлено право наказывать смертью за хулу на православную церковь и за нарушение церковных привилегий. В нашей официальной истории любят вспоминать, как Сергей Радонежский благословил князя Дмитрия на Куликовскую битву, но о тесном сотрудничестве церкви с Ордой предпочитают молчать.

После освобождения России от ордынского ига у нас окончательно восторжествовала византийская идея о нерушимом союзе церкви и государства: Москва была объявлена «Третьим Римом». Всё, что противоречило догматическому православию, беспощадно душилось.

* * *

– Хотите примеры? – спросил Чаадаев. – Пожалуйста. В новгородской земле накануне её вхождения в Московское царство, возникло мощное движение, в чём-то напоминающее европейскую Реформацию. Наши протестанты назывались «стригольниками» по особой стрижке, которую они носили. Они отвергали, прежде всего, тиранию православной церкви, выступали против накопления ею богатств; нельзя служить двум Богам одновременно: Богу и Мамоне, – сказано в Евангелии. Несмотря на это ясное недвусмысленное правило, церковь осудила стригольников как еретиков. Их учение прозвали «прямой затеей сатаны», а самих стригольников – «злокозненными хулителями церкви», «развратителями христианской веры». Новгородские епископы настояли на том, чтобы руководителей ереси – дьякона Никиту, ремесленника Карпа и других утопили в реке Волхов. Затем казнили остальных участников движения в Новгороде и Пскове.



9. Сожжение протопопа Аввакума. Рисунок А. А. Великанова из его рукописи «Житие протопопа Аввакума». Ярославль, XVII век.

Уничтожение стригольников одобрил и московский митрополит Фотий. В своих посланиях он благодарил псковичей за расправу над еретиками и просил применять все средства для их уничтожения. По примеру западных инквизиторов, о деятельности которых в России хорошо знали, Фотий советовал казнить еретиков «без пролития крови», во имя «спасения души» казненных. Это означало смерть на костре: послушные псковичи последовали советам московского митрополита – они переловили и сожгли стригольников, ещё оставшихся на свободе.

Вскоре главным борцом с ересями стал игумен подмосковного Волоколамского монастыря Иосиф Санин, провозглашённый православной церковью святым Иосифом Волоцким.

Он восхищался деятельностью испанской инквизиции и переносил её способы в Россию. В «огненных казнях» и тюрьмах Иосиф видел «ревность» к православной вере. Он проповедовал, что руками палачей казнят еретиков сам «святой дух» и призывал всех «истинных христиан» «испытывать и искоренять лукавство еретическое», грозя строгим наказанием тем, кто «не свидетельствовал», то есть не доносил на еретиков. Одно лишь сомнение в законности сожжения противников церкви Иосиф считал «неправославным». Ни о какой свободе совести, ни о какой свободе слова нельзя было даже помыслить: жестокие законы, преследующие гражданские свободы, Иосиф называл «божественным писанием», подобным пророческим и апостольским книгам.

В Москве он расправился с ересью «жидовствующих», получившей своё название от «жидовина» Захария, проповедующего некоторые вольности в вере и обращающегося для подкрепления своих мыслей к Ветхому Завету. Некоторые представители московской аристократии, недовольные церковным всевластием, примкнули к этому движению; на первых порах его поддержал и царь Иван Третий, который видел в церкви соперника. Но Иосиф Волоцкий сумел привлечь царя на свою сторону: в писаниях Иосифа власть опять-таки прославлялась как данная от Бога, церковь же должна была твёрдо и без сомнений поддерживать её. Богатство светской и духовной власти тоже получило в его писаниях обоснование: какая, де, сила без богатства? «Иосифлянство» сделалось идейной опорой русского православия и является им до сих пор.

– Но разве католическая церковь в Европе не была богатой? – заметила Екатерина Дмитриевна.

– Да, но против богатства, отвращающего от Бога, в католичестве постоянно выступали лучшие представители этой веры. Нищенствующие монашеские ордена – обычное явление для католичества, а имя Франциска Ассизского навеки прославило христианское учение в его западном виде, – возразил Чаадаев. – В России нищенствующие проповедники были исключением, – только блаженным и юродивым позволялись отступления от единственно верного иосифлянского православия. Когда Нил Сорский хотел основать нечто вроде нищенствующего ордена, общину «нестяжателей», всё тот же Иосиф Волоцкий решительно выступил против этого.

Наши старцы-отшельники всегда были подобны белым воронам в чёрной стае корыстолюбивого и жадного до мирских соблазнов православного духовенства. В своих проповедях попы говорят одно, а живут по-другому; Пушкин записал меткое наблюдение об этом:

В деревне, помнится, с мирянами простыми,
Священник пожилой и с кудрями седыми,
В миру с соседями, в чести, довольстве жил
И первым мудрецом у всех издавна слыл.
Однажды, осушив бутылки и стаканы,
Со свадьбы, под вечер, он шел немного пьяный;
Попалися ему навстречу мужики.
«Послушай, батюшка, – сказали простаки, —
Настави грешных нас – ты пить ведь запрещаешь,
Быть трезвым всякому всегда повелеваешь,
И верим мы тебе; да что ж сегодня сам...».
«Послушайте, – сказал священник мужикам, —
Как в церкви вас учу, так вы и поступайте,
Живите хорошо, а мне – не подражайте».

– Забавно, – улынулась Екатерина Дмитриевна. – Так оно и есть.

– «Это было бы смешно, когда бы ни было так грустно», – процитировал Чаадаев. – Можно ли верить проповеднику, который своим примером не подтверждает, а опровергает свои проповеди? Безудержное пьянство нашего народа, которое изумляет и ужасает всех иностранцев, находит себе оправдание в таком же пьянстве православного духовенства. Церковные праздники превращаются в пьяные оргии, когда пьют все, от детей и женщин до стариков, при этом священники нисколько не отстают от народа.

Сейчас у нас Пасха, великий христианский праздник, время вспомнить о Христе и его заветах, но вместо этого не прекращается пьяный загул. Я вот уже три дня не выхожу из дома, не хочу видеть того, что творится на улицах. Повсюду пьяные, которые кричат, поют, смеются, плачут или дерутся. У кабаков и прямо посреди улицы лежат недвижимые тела тех, кто уже не может прийти до дома. В тёмных переулках мужчины и женщины вытворяют бог знает что и здесь же справляют нужду. И это Пасха?..

Впрочем, православная Пасха по сути вообще не Пасха, ибо отмечается с опозданием, по устаревшему календарю, – так же как другие христианские праздники.

* * *

– Мы во всём отстали от Европы, да ещё гордимся этим, – он нахмурился и замолчал, а потом продолжил: – Иосиф Волоцкий закончил возведение здания «истинного православия». Над московскими фрондёрами была произведена показательная казнь: их предводителей сожгли в клетке в Москве, остальных – в Новгороде и Юрьеве. Больше никто не сомневался в праве церкви творить расправу над инакомыслящими: если у кого-то оставались ещё сомнения, они окончательно пропали в царствование Ивана Грозного. По малейшему подозрению в отступлении от православия людей подвергали немислимым по жестокости пыткам и казням.

В оправдание Грозного говорят, что в Европе в это время дело обстояло не лучше, там католики и протестанты безжалостно истребляли друг друга, – однако такие зверства и в таком количестве, которые совершал русский православный царь, Европа, всё-таки, не видела. В ней распространялся гуманизм, поэтому мучения и насильственная смерть инакомыслящих проповедников уже вызывали отторжение. Когда Варфоломеевской ночью в Париже убили семь тысяч протестантов, это оттолкнуло от фанатичных католиков-убийц даже их сторонников, Европа застыла в ужасе.

У нас при Иване Грозном было перебито одной только аристократии пять тысяч человек, – именно столько занесено в синодик, в поминальный список царя Ивана. Мужчины низшего сословия и женщины редко удостоивались высокой чести попасть в царский синодик – царь не считал нужным молиться об их загубленных жизнях.

Наши добросовестные исследователи старины до сих пор спорят, сколько всего народа загубил Иван: кто-то утверждает, что сто тысяч, кто-то – сто пятьдесят, кто-то говорит о двухсот тысяч убитых за время его правления. Во всяком случае, современники определённо писали, что Россия после царя Ивана «запустела». Не буду рассказывать о том, какие пытки применял к своим жертвам этот изверг на троне: у него была какая-то болезненная страсть мучить людей самыми изощрёнными способами.

При первых Романовых, когда был принят обширный свод российских законов, Соборное Уложение шестьсот сорок девятого года, «поносные слова» и «святотатство» против православной церкви рассматривались как богохульство и карались «квалифицированной казнью» – сожжением на костре, четвертованием, колесованием или сажанием на кол. Иностранец Петрей лично видел, как несколько таких «святотатцев» посадили на кол, после смерти тела вынесли за городские ворота, сожгли, а пепел засыпали землей.

Особенно свирепо церковь расправлялась с раскольниками, не вынесшими её гнета и пожелавшими верить во Христа по-своему. Расколоучитель Андрей Денисов в «Повести о

жизни Никона» сравнивает участь раскольников с участью первых христиан в Римской империи. Перечисляя орудия пыток – бичи, клещи, тряски, плахи, мечи, срубы, он упоминает и о железных хомутах – типичном орудии инквизиции: «Хомуты, притягивающие голову, руки и ноги в едино место, от которого злейшего мучительства по хребту лежащие кости по суставам сокрушаются, кровь же из уст и ушей, и из ноздрей, и из очей течёт».

В другом раскольническом письме гонения против них изображены так: «Везде бряцают цепи, везде вериги звенят, везде Никонову учению служат дыбы и хомуты. Везде в крови исповедников ежедневно омываются железо и бичи. И от такого насильственного лютого мучительства залиты кровью все города, утопают в слезах села, покрываются плачем и стоном пустыни и дебри, и те, которые не могут вынести таких мук при нашествии мучителей с оружием и пушками, сжигаются сами».

«Кто заповедовал так мучить людей, – спрашивал вождь раскольников Аввакум, – разве Христос этому учил? Мой Христос велел проповедовать словом, а не кнутом и огнём». Самого Аввакума много лет держали в земляной тюрьме в цепях, а потом сожгли заживо вместе с его учениками.

Преследование раскольников шло с такой силой, что случаи их самосожжения стали массовыми. В Пошехоновской волости Белосельского уезда сожглись две тысячи человек: на реке Березовке в Тобольском крае сожглось около тысячи семисот раскольников. В других волостях, жалуясь на притеснение духовных властей, крестьяне писали, что священники держат их без одежды на морозе, и что если их не избавят от разорения, то они готовы «в огне сгореть».

Вы подумайте, до какого отчаяния надо было довести людей, чтобы они добровольно сжигали себе вместе с женами и детьми, лишь бы не попасть в руки своих мучителей!

* * *

– Страшно слушать, – покачала головой Екатерина Дмитриевна. – Такое ощущение, что наша история написана кровью.

– И заслуга в этом не только светской власти, но и православной церкви, – прибавил Чаадаев. – Так повелось от Византии, и мы продолжили эту печальную традицию.

Но, может быть, просвещённый восемнадцатый век положил конец этой вакханалии убийств? Ничуть. Пётр Великий, прорубивший окно в Европу и повернувший Россию лицом к ней, продолжал инквизиторскую деятельность в защиту православия. С одной стороны, он полностью подчинил церковь государству, издевался над отжившими церковными порядками, но с другой стороны, он был яростным защитником православия иосифлянского вида. Да и кто бы из правителей отказался от такого дара? Церковь у нас поддерживает власть, а власть поддерживает церковь. «Ворон ворону глаз не выклюет», – как говорят в народе.

Я уже сказал, что при Петре был создан Приказ инквизиторских дел; выступление против православной церкви, критика ее догматов и обрядов рассматривались как «богохуление». «Хулители веры, – говорил Петр, – наносят стыд государству и не должны быть терпимы, поелику подрывают основание законов». Виновным выжигали язык раскаленным железом, а затем предавали смерти.

В годы правления «матушки-императрицы» Екатерины Второй, «философа на троне», как её называли льстецы, духовное ведомство всюду видело мятеж против церкви и настаивало на суровых мерах для искоренения «злых плевел». По поручению Синода петербургский митрополит Гавриил представил свои соображения о том, как бороться с церковными противниками. Гавриил предложил виновных смирать прежде всего публично – одевать в позорную одежду и выставлять как преступников на всеобщее осмеяние. Затем им следовало дать тридцать ударов плетью о двенадцати хвостах, выжечь калёным железом клеймо на лбу – буквы ЗБХ (злбный богохульник) и сослать навечно в каторгу, где использовать на самых тяжелых

работах «вместо скотов». Жестокость этого наказания Гавриил объяснил тем, что отступление от православной церкви, безверие и богоотступничество являются заразой для государства.

Екатерина дала, хотя бы, некоторые послабления раскольникам, но при нынешнем государе Николае Павловиче гонения на них возобновились. В Севастополе двадцать солдат осуждены за отход от православия. Часть солдат забили до смерти шпицрутенами, прогнав через строй в пятьсот человек, остальных пороли розгами.

Впрочем, удивляться этому не приходится, – мы уже говорили, что у нас вновь провозглашена основная национальная идея «православия, самодержавия, народности». Старая мысль Иосифа Волоцкого взята на вооружение, – мы опять обращены в прошлое, вместо того чтобы смотреть в будущее. Мы не ищем новых форм общественной жизни; мы вытаскиваем из сундуков наряды прадедов на удивление всему миру.

– Вот именно, на удивление, – сказала Екатерина Дмитриевна. – Мне написала подруга из Петербурга, что фрейлины при дворе сейчас должны одеваться в сарафаны и кокошники. Это очень забавляет иностранных гостей, они называют это «русскими чудачествами» – «*es russes excentricités*».

– «*Es russes excentricités*», – повторил Чаадаев. – Одно дело, когда эти «*excentricités*» совершают наши романтики-славянофилы, видящие в допетровской Руси идеальное государство, но другое дело, когда «*excentricités*» становятся принципами государственной политики. Куда нас это заведёт? Если бы наши чудачества касались только сарафанов и кокошников, Бог с ними, но мы заходим в своих «*excentricités*» слишком далеко. Мы хотим распространить их на всю Европу, мы пытаемся утвердить силой свои великодержавные амбиции, – ну, как же, мы ведь «Третий Рим»! Наша армия стала проклятием для европейских народов, а это уже не смешно. Рано или поздно они объединятся против нас, и наши записные патриоты вновь будут кричать о «западной угрозе». Сеющий ветер, посеет бурю.

* * *

– Если бы мы в самом начале нашего исторического пути вошли в Европу, ничего бы этого не было, – сказал Чаадаев, отпив чай из своей кружки. – Надо было принять католичество, а не прогнившую византийскую веру. Поборники православия твердят, что тогда Россия перестала бы быть Россией, но откуда они это взяли? Разве принятие католичества уничтожило самобытность других славянских народов? Перед нами примеры католических Польши и Чехии, которые были сильнейшими европейскими державами на протяжении столетий и которые остались самобытными, даже потеряв независимость на трудных перекрёстках истории. Католическая вера помогала им сохранять своё лицо, – Польше она помогает и поныне оставаться Польшей под российским игом.

Нечего говорить о печальных последствиях принятия православия для нашей культуры. Утверждают, что благодаря православию Русь из полудикой, тёмной, невежественной страны превратилась в цивилизованное государство; утверждают, что православная церковь имела перед собой «непросвещённую душу русского человека» и «стояла у истоков русской культуры». Каким было в действительности наше «цивилизованное» государство, я сказал, – что же касается культуры, то православная церковь постоянно сдерживала её развитие. Влияние западной культуры объявлялось тлетворным, попытки перенять её считались преступлением. Православное духовенство насаждало неприязнь и вражду ко всему западному; на церковных соборах утверждались индексы запрещенных книг, – книги, признанные вредными, предлагалось сжигать на теле лиц, у которых они были обнаружены. При Иване Третьем за хранение и чтение иностранных книг в Москве сожгли в деревянной клетке князя Лукомского вместе с переводчиком Матиасом Ляхом. В семнадцатом веке одна религиозная, «истинно православная» женщина пожаловалась как-то самому патриарху на своего сына, который «забыв страх

божий, в церковь божью не ходит, отца духовного не имеет, с иноземцами некрещёнными водится». Любознательного юношу били батогами и сослали в Симонов монастырь.

При организации российского «рассадника просвещения» – Славяно-греко-латинской академии – на неё возложили обязанность наблюдать, чтобы иностранцы не производили «противностей» православной церкви. Инквизиторы академии должны были сжигать «богохульные» книги, а лиц, виновных в их распространении, доставлять для наказания в «градский» суд.

Позже даже Академия наук не была свободна от бдительного контроля нашей церкви. Священники проверяли издания Академии, выискивая в них места «сомнительные и противные христианским законам, правительству и добронравию». А какую ненависть вызывал у церковников Ломоносов, – Святейший Синод требовал, чтобы произведения нашего научного гения были сожжены, а сам он был отослан к священникам «для увещания и исправления»! Тогда же была публично сожжена книга Аничкова, профессора математики Московского университета, потому что митрополит Амвросий счёл эту книгу «вредной и соблазнительной». Другой профессор, Мельман, по доносу митрополита Платона был отстранен от преподавания и отправлен в Тайную канцелярию, где его подвергли пыткам.

Синод организовал ещё особую духовную цензуру, которой были предоставлены самые широкие полномочия. Книги сжигали на кострах десятками: произведения Вольтера, Дидро, Руссо, Гольбаха летели в огонь. Не избежал этой участи и «Левиафан» Гоббса: обличения власти и церкви, которые там сделаны, стали причиной того, что она была признана «наивреднейшей» и тоже сожжена.

Сейчас у нас изничтожают Грановского – на своих лекциях в университете он, де, не упоминает о божественном промысле, критически отзывается о российском средневековье, а западному, наоборот, придает слишком большое значение. Многие огорчения причинены Загоскину, лучшему нашему романисту: вы, наверное, слышали, что московский митрополит Филарет нашел в его произведениях «смешение церковных и светских предметов», и Загоскину пришлось основательно переделать свои романы, чтобы они могли увидеть свет.

* * *

– Что же, и романы нельзя печатать без церковного одобрения? – возмутилась Екатерина Дмитриевна.

– А чему вы удивляетесь? Ничего нельзя, что не соответствует «духу православия», – сказал Чаадаев. – При Иване Грозном на Стоглавом соборе было заявлено, что всё, не соответствующее этому духу, не должно существовать в России. Наши живопись, зодчество, литература должны были оставаться такими, как это было заведено у наших отцов. В результате в Европе наступила эпоха Высокого Возрождения, а мы продолжали копировать древние византийские образцы. Только благодаря непостижимому искусству наших мастеров им удавалось создавать шедевры даже в этих жёстких рамках, но у нас в принципе не могло быть своих Леонардо, Рафаэля или Микеланджело. Им для творчества нужна была свобода, а в России её не было и в помине. Русские мастера творили под гнётом власти и «православного духа», они не могли рассчитывать на малую толику того уважения, которые имели их собратья по искусству в Европе. Печальная легенда гласит, что Барму и Постника, построивших храм Василия Блаженного, царь Иван приказал ослепить, дабы они не создали ещё чего-нибудь столь же прекрасного. Если это и выдумка, то правдоподобная, характерная для русской жизни. Вы можете представить себе Леонардо, которому герцог Медичи выколол глаза, чтобы тот не написал вторую «Джоконду»?..



10. Иван Грозный и души его жертв. Художник М.К. Клодт.

Карл Пятый, всемогущий император, чья власть простиралась почти на всю Европу и Америку, поднял кисть Тициана, когда тот уронил её. Правитель, перед которым дрожали целые народы, перед которым сгибался мир, склонился перед художником, признавая, что настоящий талант выше власти! А у нас власть в лучшем случае оказывает снисходительное покровительство таланту, часто оскорбительное для него. Пушкину царь обещал, что сам будет его цензором, – станет проверять его работы, будто строгий учитель у нерадивого ученика.

Мы пришли к европейскому искусству лишь при Петре Великом, но сколько времени было потеряно, сколько выдающихся произведений мы не получили на родной почве.

Увы, гонения продолжают поныне! Духовенство бдительно следит, чтобы вольнодумство и «западная зараза» не распространялись у нас. Пушкин, как всегда, числится в первых рядах вольнодумцев. Некий духовный пастырь сказал про Пушкина, что он «нападает с опасным и вероломным оружием насмешки на святость религии, этой узды, необходимой для всех народов, а особенно для русских». Другой пастырь соизволил заметить: «До Пушкина все наши лучшие писатели – Державин, Карамзин, Жуковский – были истинные христиане. С него же, наоборот, лучшие писатели стали прямо и открыто совращаться в язычество. Даровитейшие, самые модные из писателей взывают к общественному перевороту... Помолимся, – да сгонит господь эту тучу умственного омрачения, нагнанную отчасти и предосудительным примером поэта!».

Рясоносных защитников алтаря и царского престола не останавливает даже то, что Пушкин, прежде всего, русский поэт, его любовь к России не подлежит никакому сомнению. Они мечут громы и молнии против Пушкина потому, что вся его жизнь, всё творчество провозглашают идеи свободы от всего, что угнетает человека, ставит на колени, – в том числе от духовных уз, от «предрассудков вековых», от «ложной мудрости», как называет Пушкин нашу религию.

Он ответил своим гонителям убийственным стихом:

Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.

– Боже мой, – сказала Екатерина Дмитриевна, – как бы его за это... – она испуганно посмотрела на Чаадаева.

– Всё реакционное, что есть у нас, объединилось против него, – со вздохом сказал Чаадаев. – Они травят Пушкина, как дикого зверя, загоняют в смертельную ловушку. Хотел бы я ошибиться, но это плохо кончится.

– И вы ничем не можете помочь ему? – с тревогой спросила Екатерина Дмитриевна. – Вы имеете на него такое большое влияние, Пётр Яковлевич.

– Вы преувеличиваете. Я уже говорил: никто не может влиять на гения, он сам выбирает свою судьбу, – возразил он. – Впрочем, мы все являемся причиной того, что с нами происходит. Человек сам строит дом, в котором живёт, и живёт в том доме, который построил. Если этот дом неудобен, тесен, мрачен, если в нём трудно дышать, значит, он был возведён неверно. Тогда остаётся два выхода: или сломать его и возвести заново, на что немногие решаются, или кое-как доживать в нём свой век. Но как вам такая картина: Пушкин в спокойной старости, – расслабленный, в шлафроке, подпоясанным платком; нянчащий своих внуков и ворчащий на жену за опоздание со слабительными каплями? Это было бы глупо и пошло для гения, тем более, для поэта; его уход из мира должен быть столь же ярким и необычным, как его жизнь.

Как бы там ни было, мне нельзя уехать из Москвы, я под полицейским надзором. Жуковский пытается ему помочь, но что он может против многочисленных врагов Александра? Если бы не всероссийская слава Пушкина, с ним давно расправились бы: с помощью того же духовенства, например.

Вам известно, что у нас до сих пор можно отдать человека «на исправление» святым отцам, как это хотели сделать с Ломоносовым в своё время? Можно поместить «опасного и вероломного насмешника» в монастырь, – в Соловецком для таких «насмешников» построено специальное здание. Там, в нижнем этаже, есть небольшие чуланы, без лавок и окон, куда часто помещают вольнодумцев, – без решения суда, в административном порядке. Стража и тюремные служители находятся в полном подчинении архимандрита и содержат узников весьма сурово. Некоторые из арестантов сходят с ума в этих каменных мешках, но бывает и так, что психически ненормальными объявляют совершенно здоровых людей. Ненормальность их заключается в том, что они выступили против власти и церкви.

* * *

Екатерина Дмитриевна вдруг побледнела и покачнулась в своём кресле, чашка выпала из её рук.

– Что с вами? – Чаадаев успел поддержать Екатерину Дмитриевну. – Вам дурно?

– Нет, ничего, мне уже легче, – ответила она, приходя в себя. – Что-то померещилось, – что-то очень нехорошее.

– Вот до чего я довёл вас своими разговорами, – виновато сказал он. – Давайте прекратим это.

– Нет, нет, – запротестовала она, – я хочу дослушать до конца! Налейте мне ещё чая.

– Но он совсем остыл, – хотите я позову Елисея, он согреет нам новый? – предложил Чаадаев.

– Не надо, я выпью холодный, – отказалась Екатерина Дмитриевна, – не будем нарушать ваши обычаи. Только поднимите мою чашку... Благодарю вас.

– Вам в самом деле лучше? – спросил Чаадаев.

– Да, всё прошло. Я готова слушать, – она слегка улыбнулась, что приободрить его.

Он ещё раз внимательно посмотрел на неё, с сомнением покачал головой, но всё же сказал:

– Мне, собственно, осталось сделать выводы из сказанного... Православие обрекло Россию на отсталость, на замкнутость в своём религиозном обособлении от европейских принципов жизни. Русская история оказалась заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, отличающимся злодеяниями и рабством. Самодержавие и православие – вот главные пороки русской жизни, её темные, позорные пятна. Мы – пробел в нравственном миропорядке, враждебный всякому истинному прогрессу; раз уж Бог создал Россию, то как пример того, чего не должно быть: роль русского народа велика, но пока чисто отрицательная и состоит в том, чтобы своим прошедшим и настоящим преподать другим народам важный урок.

Сейчас в России сложились условия, невозможные для нормальной жизни человека; проклятая действительность подавляет все усилия, все порывы ума. Чтобы совершить какое-либо движение вперёд, сначала придётся себе всё создавать, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами, – а главное, уничтожить в русском раба! Для этого нужно воспитание аналогичное тому, какое прошло западное человечество, – воспитание по западному образцу. Не будем забывать, что Россия во многом обязана западному просвещению, но сама она овладела пока лишь крупными цивилизациями: у нас только открываются истины, давно известные у европейских народов, и то, что у них вошло в жизнь, для нас до сих пор умственная теория.

Русское общество, – по крайней мере, его образованная часть, – должно начать своё движение с того места, на котором оборвалась нить, связывающая Россию с западным миром. Я верю, придёт день, когда мы станем умственным средоточием Европы, как мы сейчас являемся её политическим средоточием, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превзойдёт наше теперешнее могущество, опирающееся на военную силу; если России выпадет миссия облагородить человечество, то, конечно, не военными средствами.

Я не хочу сказать, что у России одни только пороки, а среди народов Европы одни только добродетели, – избави Бог! Настанет пора, когда мы вновь обретём себя среди человечества; мы пришли позже других, а значит, сможем сделать лучше их, если сумеем правильно оценить своё преимущество, и использовать опыт западной цивилизации так, чтобы не входить в её ошибки, заблуждения и суеверия.

Более того: у меня есть глубокое убеждение, что именно мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, которые занимают цивилизованный мир. Мы должны сочетать в себе два великих начала духовной природы – воображение и разум – и объединить в нашей цивилизации историю всего земного шара.

Повторю, России поручены интересы человечества, – в этом её будущее. Но прежде чем Россия станет совестным судом по тяжбам человеческого духа, она должна понять своё прошлое, признать свои собственные заблуждения, раскаяться в них и сделать плодотворные выводы, – закончил Чаадаев.

– В свете повторяют ещё одно ваше заключение, безнадежное и печальное: «Прошлое России – пусто, настоящее – невыносимо, а будущего у неё нет», – сказала Екатерина Дмитриевна. – Вся Москва твердит эту вашу фразу...

– ...Которую я не говорил, – с усмешкой возразил Чаадаев. – Когда я выезжаю в свет, мне передают много моих изречений, о которых я слышу в первый раз.

– Так опубликуйте свои мысли! – воскликнула Екатерина Дмитриевна. – Этим вы положите конец всяческим наветам на вас.

– Вы полагаете? – иронически прищурился он. – А я думаю, что публикация вызовет ещё больший поток наветов: разве мои мысли могут понравиться нашим поборникам кнута и ладана, квасным патриотам и служителям власти? Меня клюют даже теперь, когда я высказываюсь в узком кругу, – что же будет, когда мои мысли станут достоянием многих?

– Петр Яковлевич, вы должны, вы обязаны опубликовать свои рассуждения! – она взяла его за руку. – Во имя России, которой вы верно служили, за которую не боялись отдать самую жизнь

– Предлагает мне пойти в атаку, грудью на картечь? Это по-нашему, по-гусарски – они думают, что загнали меня в угол, что я только и способен остро словить в салонах, а я на них с саблей наголо! – рассмеялся Чаадаев. – Я не боюсь, Екатерина Дмитриевна, мне просто жалко мой покой, этот уютный флигель и всё, что с ним связано, – он погладил её руку.

– Всё это останется с нами, никто не в силах отнять это у нас, – возразила Екатерина Дмитриевна.

– Да, прошлое отнять нельзя, – согласился он. – Но будущее?

– Не будем загадывать, – она высвободила свою руку и поднялась с кресла. – У меня к вам просьба: посвятите мне то, что вы опубликуете. Для меня это очень важно, поверьте.

– Но вы станете моим поделником, зачем вам такие сложности? – удивился Чаадаев, поднимаясь вслед за ней.

– Я хочу быть с вами, – всегда и во всём, – зардевшись, призналась она.

– Так что нам мешает быть вместе? – спросил он, стоя перед Екатериной Дмитриевной и глядя ей в глаза.

– Всё то же препятствие: мой муж, – повторила она. – Это как-нибудь разрешится, я знаю... Прощайте пока; время, проведённое у вас, было лучшим в моей жизни.

– И для меня оно было лучшим, – он низко поклонился ей. – Верю, что мы расстанемся ненадолго.

– И я верю, – ответила Екатерина Дмитриевна и, не удержавшись, заплакала...

В сенях главного дома её ждала Екатерина Гавриловна.

– Ты сегодня рано, Катенька, – сказала она. – Дни прибавились, но ещё не начало светать. Что, вы закончили ваши разговоры?

– Да, закончили.

– Каков же итог?

– Пётр Яковлевич напечатает свои рассуждения о России.

– Это прекрасно. Ты оживила его, спасла от хандры – в последнее время он стал совсем другим, – но я не об этом, – улыбнувшись, возразила Екатерина Гавриловна. – Что у вас с ним?

– Ах, Кити, если бы не муж, – вместо ответа вздохнула Екатерина Дмитриевна. – Но я чувствую, что скоро всё решится.

– Как же?

– Не знаю... Милая Кити, не спрашивай меня ни о чём! – Екатерина Дмитриевна расцеловала её. – Ты хорошая, добрая, ты моя самая лучшая подруга, но мне нечего тебе сейчас сказать! Скоро всё разъяснится – вот увидишь.

– Дай Бог, – Екатерина Гавриловна тоже обняла и расцеловала её.

* * *

Осенью 1836 года в журнале «Телескоп», который издавал профессор Московского университета Николай Иванович Надеждин, и который любила читать образованная московская публика, были напечатана статья с размышлениями Чаадаева об историческом пути России.

Несмотря на то, что эта статья была написана в философской форме и вряд ли понятна широкому читателю, правительство переполошилось. Министр народного просвещения граф Уваров, воскресивший триаду «православие, самодержавие, народность», назвал статью Чаадаева «дерзостной бессмыслицей» и потребовал запретить напечатанный её журнал. Это было сделано быстро, без каких-либо осложнений: «Телескоп» запретили, Надеждина выслали в Усть-Сысольск. Однако встал вопрос, что делать с автором «дерзостной бессмыслицы»? В

частности, нужно ли доложить о Чаадаеве государю Николаю Павловичу, и если нужно, то как это подать?

С одной стороны, не хотелось тревожить государя такими пустяками, ведь у него было чувствительное сердце, но с другой стороны, он мог сам узнать об этом деле и сделать выговор за недонесение о нём. Было известно, что Николай Павлович смотрел на литераторов, как на людей, опасных власти. Понятие о просвещении не отделялось в его голове от мысли о бунте, а бунтом он почитал всякую мысль, противную существующему порядку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.